

В. А. СОЛЛОГУБ



ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА

Владимир Александрович Соллогуб

Старушка[1]

Повесть

I

Отец и дочь

В четвертом этаже довольно грязного дома Офицерской улицы[2] сидела у окна перед пальцами молодая девушка и о чем-то думала. Окно было заставлено растениями и задернуто занавеской. В комнате было опрятно, хотя по скудному ее убранству не трудно было отгадать, что жильцы — люди весьма небогатые.

Диван красного дерева с выгнутой спинкой, несколько стульев, обтянутых некогда голубой, а ныне желтоватой материей, овальный стол, кровать за ширмой, у кровати сундук, комод, покрытый клеенкой, шкаф с домашней утварью, пальцы, ярко вычищенный самовар и старинные бронзовые часы — вероятно, последний остаток более счастливых времен — вот все, что наполняло низенькую, но, впрочем, довольно вычурно расписную комнату. Во всем проглядывала бедность, но бедность с некоторой претензией, обнаруживающей как будто право на большее довольство. Между окон висело зеркало в почерневшей раме. На столе лежало несколько французских романов, маленький исписанный альбом и несколько золотых безделок, браслетов, брошек, серег в фарфоровом блюдечке.

Сквозь полурастворенную дверь видна была небольшая кухня, в которой здоровая кухарка с засученными рукавами усердно что-то стирала, приговаривая шепотом несвязные слова.

Молодая девушка, сидевшая у окна, была из числа тех, которые рождаются как будто ошибкою на севере.

Черная как смоль коса едва укладывалась тяжелым венцом над ее правильной, несколько смуглой головкой.

Большие черные глаза то сверкали решимостью и страстью, то вдруг, испуганные своей дерзости, прятались поспешно за длинными ресницами. Густые брови придавали иногда странную суровость детскому личику; но суровость эта скоро смягчалась нежным выражением взора, добродушной улыбкой ребенка, который и в печальной доле не знает еще печали.

Она сидела и думала — о чем, кто это скажет? Кто выразит, о чем думает молодая девушка, когда ей минуло семнадцать лет, когда глаз ее черен и она без свидетелей забыла свое рукоделье, уронила иголку и носится душой в целом океане упоительных догадок?

Очевидно, в мыслях молодой красавицы не было ничего безотрадного, напротив, в чертах ее лица выражался иногда веселый блеск шаловливого удовольствия, вероятно, при каком-нибудь шуточном, но задушевном воспоминании. Она вдруг улыбалась и потом, как будто забыв, что она одна в комнате, совестилась своей невольной улыбки, хмурила брови и принимала важный вид. Но притворный гнев не удавался. Молодость превозмогала врожденное чувство женской скрытности, и во взоре красавицы выражалась внезапно не детская насмешка, не выученная холодность, а тихая, глубокая, беспредельная нежность.

Душа ее светлела в новом, торжественно грустном упоении. И вдруг ей становилось чего-то страшно. Она как бы желала чего-то, ждала чего-то и потом боролась с тайным опасением, не знала, что ей делать. Наконец она вдруг решительно вскочила с своего места, отодвинула растения, отдернула занавеску и отворила окно. Теплый ветерок пахнул в комнату. Вечер был весенний и светлый, как бывают весенние вечера в Петербурге. Молодая девушка взглянула сперва на небо, а потом, прислонившись на подоконник, с большим вниманием начала слушать шарманщика, который, с фуражкой в руке, жалобно на нее поглядывал, наигрывая из «Фрейшюца» марш[3]. На улице все было по-обыкновенному. По тротуару шел чиновник с портфелем и завязанной щекой. На перекрестке будочник бранил заспанного извозчика. У погребка нищий, в фризовой шинели и с красным носом, нюхал табак. Перед мелочной лавочкой стоял лавочник в переднике и пил вприкуску чай из стакана. Прошли, озираясь, две дамы в кисейных шляпках, а за ними промелькнули, помахивая тросточками, два молодца в фуражках и светлых пальто. Проехало несколько четвероместных ямских карет, нагруженных мирными семействами на возвратном пути с дач. Прошло несколько пожилых женщин с большими букетами пахучей сирени в руках.

В этой подвижной картине весенней петербургской жизни таилась, вероятно, особая прелесть для любопытной красавицы. Она не спускала глаз с проходящих и следила с большим вниманием за каждым их движением. На одно место она только упорно не глядела, а именно: на третий этаж противоположного дома. В этом доме было тоже отворенное окно, ровнехонько перед окном молодой девушки, но оно не было уставлено растениями, не украшалось занавеской. Из него клубом валил густой табачный дым, слышался собачий лай и раздавалось дребезжащее брэнчанье расстроенных фортепьян.

При появлении смуглой головки лай собаки превратился в завывание, музыка умолкла и последнее облако дыма вознеслось, раздваиваясь, к небу. Из-за этого облака показалась белокурая голова молодого человека самой приятной наружности. В эту минуту он в особенности был хорош. В чертах его была радость, в глазах — любовь. Пристально, пламенно, страстно глядел он на милую соседку, и глядел так же упорно, как она избегала его взора. Но если справедливо то, что говорится о магнетическом влиянии воли, то она, верно, чувствовала этот жгучий, неодолимый взгляд; и действительно, дыхание ее становилось чаще, сердце ее билось, и недвижная стояла она и все пристальнее и бессознательнее глядела на шарманщика.

Вдруг крупная серебряная монета звонко ударилась о мостовую подле самой шарманки. Невольным движением молодая девушка быстро подняла голову и опомнилась; но было уже поздно: взоры их встретились. Он стоял перед ней сложив руки и глядел так жалко, так трогательно, что она не в силах была отвести от него взора. Он поклонился и приложил руку к сердцу. Она на поклон не отвечала, но покраснела по уши и в замешательстве сорвала единственный цветок, украшавший ее растения. Так стояла она, перебирая в руках оторванную ветку, смущенная, кроткая, покорная и прикованная сверхъестественной силой.

Молодой человек продолжал свои телеграфические знаки. Правой рукой начал он писать что-то на левой ладони и снова потом сложил руки, как бы умоляя об ответе. Молодая девушка оставалась бездвижна.

Сосед снова начал свою безмолвную речь. На губах его шевелились слова моления. Надежда и отчаяние попеременно проявлялись в чертах его. Он размахивал руками, говорил взглядами. Все это для равнодушных соседей могло бы показаться крайне смешным, но молодая соседка не смеялась. Недолетавшие звуки отдавались в ее душе сладко-болезненным чувством; она уж готова была отвечать и вдруг стыдливо останавливалась.

Тогда, чтоб придать новую силу своей пантомиме и выразить свое отчаяние, молодой человек схватил ножик и устремил его к сердцу.

При этом страшном движении у противоположного окна раздался внезапный крик, и вместо ответа полетел на улицу оторванный цветок. В ту же минуту молодой человек исчез.

Опомнившись от испуга, побледневшая красавица начала робко оглядываться. На улице все утихло. Два извозчика спали, согнувшись, на дрожжах. Шарманщик, взбросив шарманку на спину, исчезал за будкой, весело наигрывая «Уж как веет ветерок»[4]. Начинало смеркаться. По тротуару спешил маленький старичок в вицмундире.

— Папенька! — прошептала молодая девушка, поспешно затворяя окно и задергивая занавеску. После этого, нагнув пламенеющее лицо на пальцы, она усердно принялась за вышиванье.

Спустя несколько минут в кухне послышался кашель.

Кухарка отворила дверь. В комнату вошел худенький, сутуловатый старичок, отирая лоб бумажным клетчатым платком.

— Что это ты, Настенька, в потемках-то глаза себе портишь? — сказал он. — Точно поденщица какая, а не штаб-офицерская дочь. А все это ваше французское воспитание... в пансионах этому выучилась. Ну, здравствуй, мой ангел. Устал... нечего сказать, стар становлюсь... Акулина, — продолжал он, бережно снимая вицмундир и надевая довольно засаленный кашемировый халат, — Вздунь-ка углей, поставь самоварчик, мать моя; точно сто лет чаю не пил.

Акулина отправилась в кухню. Молодая девушка поцеловала у отца руку и торопливо принялась готовить чайный прибор.

Старичок, казалось, был чем-то озабочен. Скрестив руки, начал он ходить по комнате, шевеля губами. Вдруг он остановился.

— А, Настя! — сказал он.

Молодая девушка вздрогнула.

— Что, папенька?

— А который тебе год?

— Да вы сами, папенька, знаете; в сентябре восемнадцать будет.

— А, так, так, — бормотал старичок, продолжая расхаживать по комнате. — Да, да... точно... Кто бы подумал? Давно ли ведь, кажется?.. А вот уж и невеста... Вчера родилась, право... А вот и замуж пора... Приданое готовь.

Старичок грустно окинул взором голые стены своей комнаты и снова начал ходить и шептал про себя.

— А легко сказать, приданое... А позвольте доложить, с чего прикажете? Место маленькое, жалованье маленькое, люди мы маленькие — вот тебе и приданое! Чин, правда, штаб-офицерский[5], да на одном-то чине далеко не уедешь. И невеста-то хоть куда, да с пустыми-то руками никто не возьмет — такой, уж известно, народ теперь... Вот если б тысяч сто капитала — был бы уж другой разговор, или тысяч пятьдесят... Ну, так и быть, хоть бы десять тысяч... так ничего бы, пристроить можно, женишок бы уж нашелся... Не важный бы... да не в том дело... был бы человек хороший, с правилами, с благородством, пожалуй, хоть обер-офицер... Дмитрий Петрович правду сказал, большую правду...

— Ну, что я зевал... Ну, умри я нынче — что же Настенька? А?.. С кем же — она? Надо же

подумать об атом. Пора за ум хватиться... Да-да-да... и очень пора...

Между тем Акулина принесла на стол журчащий самовар. Старичок успокоился, уселся и взял из рук дочери стакан чая. Но, принимая стакан, он пристально посмотрел на дочь, как никогда еще не глядел на нее, и спросил странным голосом:

— А, Настя, тебе жаль будет, если я уеду?

— Что это вы? — вскрикнула девушка. — Куда это вы думаете ехать, папенька?.. Я без вас буду такая несчастная.

— А бог милостив, Настенька, может быть, все и уладится, все будет к лучшему. Надо ведь и о тебе подумать... Ты этого, Настенька, не знаешь, а виноват я перед тобой.

Неожиданное признание старика поразило невинную грешницу более, чем самый жестокий упрек.

— Вы виноваты? — прошептала она. — Что же я?..

— А ты, Настя, ребенок, ты этого не понимаешь. Спасибо Дмитрию Петровичу, вразумил он меня, добрый человек.

— Какой Дмитрий Петрович, папенька?

— А наш Дмитрий Петрович, коллежский советник... ну, казначей наш... Да, бишь, я тебе и не рассказал, а вот какие странные бывают обстоятельства. Дмитрий Петрович давеча говорил мне в департаменте: «Иван Афанасьич, теперь, брат, некогда, а вот заходи-ка вечерком на квартиру. Надо потолковать с тобой об одном дельце». — «Хорошо, мол, Дмитрий Петрович, зайду». Поверишь ли, странно мне показалось, что за экстренность такая? То есть в голову бы никак не пришло.

Вечером, как знаешь, пошел. Прихожу. Чай уж отпили.

«Ну, здравствуй, Иван Афанасьич». — «Здравствуйте, Дмитрий Петрович». Ну, хорошо... что, бишь, я говорил?.. Да: «Садись, говорит, любезный». — «Не извольте беспокоиться». Сели... «А вот, — говорит он, — братец ты мой, есть у меня знакомая старая графиня...» — «Знаю, мол, Дмитрий Петрович, вы со всей знатью здесь знакомы...» — «Ну, да не о том речь. Вишь ты, у графини-то богатые вотчины в трех губерниях, тысяч никак пять или шесть душ. Барское, слышно, имение, да запущено. Старушка-то это дело мало смыслит. Ну, где же ей, голубушке, и понимать, живет в таком кругу, дама такого звания — где углядеть? Управители грабят». — «А что же, — говорю я, — Дмитрий Петрович?» — «А вот, — говорит он, — спрашивала меня графиня, не знаю ли я надежного человечка, чтоб поручить можно объездить вотчины, пересмотреть отчеты, завести конторский порядок». — «Знаю, мол, ваше сиятельство». — «А кого же вы это назвали, Дмитрий Петрович, любопытно бы знать?» — «Да тебя, Иван Афанасьич. Экой ты, братец, недогадливый!» — «Меня, Дмитрий Петрович? Помилуй бог, что я за ревизор такой? Тут, чаю, всякие науки нужно знать, а ведь вам известно, я человек простой, учился на медные деньги». — «Да не мошенник, — говорит Дмитрий Петрович, — вот в чем штука! Человек-то честный. А вот такого-то и надо. Вот те на». — «Помилуйте, Дмитрий Петрович... что же тут удивительного? Служу я, правда, по долгу совести и присяги. Формуляр, слава богу, не замарал. Могу сказать, выслужил свой майорский чин. В чужой карман не заглядывал». — «Редкий ты, брат, человек», — говорит Дмитрий Петрович. Поверишь ли, вот так-таки и сказал... «Поглядел бы на других... Ну, да это статья особая. В самом деле, чего тебе лучше? Поезжай-ка, брат, славная оказия...» — «Как же, Дмитрий Петрович, а служба-то?» — «Ну, отпуск возьми, ведь, верно, в первый раз». — «В первый-с». — «Ну, видишь, едешь, что ли?» — «А как же дочь-то, Дмитрий Петрович, Настенька?.. Ведь не могу же я ее так бросить». — «Ах ты, — говорит он, — старый

болван, братец, седая ты крыса! Ну, умрешь ты, с кем дочь твоя останется?..» А в самом деле, Настенька, коли я умру, с кем же ты останешься?..

— Не говорите этого! — поспешно воскликнула испуганная дочь.

Стоявшая у дверей Акулина перекрестилась и отплюнулась.

Старик продолжал:

— Что, бишь, я говорил... Да! «Ну, говорит, поедешь. Дочку можно будет куда-нибудь пристроить покамест. Да кто знает, может быть и сама графиня возьмет ее в дом. Ведь графиня тем известна, благодетельная дама, любит держать при себе бедных дворянок, многим покровительствует; вот недавно выдала воспитанницу свою, Машеньку, замуж. В тридцать тысяч пожаловала заемное письмо — вот она какая! Тут не то что наш брат... тут, братец, знатная протекция. Ну да и тебе, разумеется, награждение будет хорошее, прогоны, харчевые, на подъем, жалованье... Торговаться не будет. Этим грешно тебе брезгать. Ведь ты живешь одним жалованьем?» — «Одним жалованьем, Дмитрий Петрович, а копейки нет на черный день. Помилуйте... где же?..» — «А дочь-то у тебя невеста?» — «Невеста, Дмитрий Петрович». — «Ну, так вот видишь ли, Иван Афанасьич, перекрестись-ка, да и берись за работу. Не для себя, известное дело... тебе и своего на век хватит, а чтоб свою Настасью Ивановну пристроить. Она ведь, я видел, у тебя красавица, а красавицам в Петербурге без денег, ты сам, чаю, знаешь, не то чтобы... а все-таки... относительно... в рассуждении...»

Тут старичок смешался и тяжело вздохнул.

Молодая девушка ожидала с трепетом. Странно ей было остаться одной, жаль ей было отца, жаль, может быть, еще кого-нибудь и другого.

— Папенька, — сказала она умоляющим голосом, — не ездите, не решайтесь! Мне ничего не нужно. Если вашего жалованья для нас мало, я могу работать.

Иван Афанасьевич обиделся не на шутку.

— Вот славно придумала! — воскликнул он вспльчиво. — Уж не в магазейщицы ли идти угодно, в горничные, чего доброго? Вот, можно сказать, утешила! Вот они, ваши пансионеры, ваше французское-то воспитание, чему вас учат! Ведь, что ни говори, а ты у меня теперь дворянской крови. Сама благородная, сама, матушка, графиня... Ну, я-то еще ничего, туда-сюда... куда бы ни шло, а ты уж, матушка, пощади мою седую голову. Не унижай своего звания, не заставь меня краснеть перед людьми — слышишь ли?

— Так вы решились, папенька?

— Ну-ну... нет, не то чтоб еще решился. Как же это вдруг... нельзя-таки. Обещал только подумать, пообсудить хорошенько.

— Не решайтесь, ради бога...

— А ну, перестань ребячиться! Что это в самом деле? Да и спать-таки пора, одиннадцатый час. Утро вечера мудренее. Может быть, что-нибудь еще и придумаем. Прощай, Настенька, прощай, мой светик. Усни хорошенько. Христос с тобой.

Старичок поцеловал и благословил опечаленную дочь, а потом отправился через кухню в чулан, служивший ему спальней. За ним последовала Акулина в звании камердинера. Стащив с барина запыленные сапоги, она, против обыкновения, не пожелала доброй ночи и не ушла к себе в кухню, а осталась с таинственным видом и отворенным ртом перед кроватью надворного советника.

— Ну, спасибо, Акулинушка, — сказал Иван Афанасьевич. — Ступай-ка отдохнуть теперь, мать моя.

— Иван Афанасьич, — сказала шепотом Акулина, — позвольте слово молвить. Выслушайте мою глупую речь.

— А? Что? — с беспокойством спросил Иван Афанасьевич.

Акулина бережно притворила дверь и потом нагнулась на ухо старика.

— Дело молодое, — шепнула она. — Неча пужаться из эвтаких пустяков, а и смолчать-то не совсем аккуратно. Извольте знать, ваша милость, тут-с насупротив, в балыкинском доме, живут какие-то... Делать, знать, нефчево, песни поют, в трубку курят, прохожих кличат, сущий содом! Ну, оно, извольте знать, ничего, дело молодое... А уж честных барышень затрогивать, кажись бы, и неладно.

— Что случилось? — закричал старичок.

— Да ничего не случилось. А вот я только хотела доложить вашей милости. Сегодня около вечерень стирала я никак носки для вашей милости. Слышу, идут по лестнице. Я отперла дверь. Думаю, Ванька-дворник дрова несет. Вышла на лестницу — ан тут какой-то барчонок, и пригожий такой, кудрявенький, стоит да и сует мне ассигнацию в руки. Не разглядела я, правду сказать, какую, а рублев двадцать было по крайней мере. «Чего вам надо?» — «А вот, моя красавица...» Ей-богу, так и сказал... Хорошу красавицу нашел! Перед Кузьмой Демьяном[б] пятый десяток стукнет. Тьфу, господи! Такой уж, видно, греховодник!.. Ну, словом, такой лисой подъезжает, что только слушай... «А вот, говорит, красавица, отдай записочку барышне, да смотри, потихоньку, чтоб барин не видал. А будет ответ, так принеси в девятый номер балыкинского дома. Я еще подарю тебя, голубушка». А сам всё деньги сует в руку. Записочку-то я взяла на всякий случай, а денег, говорю, ваших не надо. «Эх, барин, не хорошим, видно, делом заниматься извольте! Видали мы эфтаких. Ступайте своей дорогой».

— Где записка?.. Записка где? — спросил дрожащим голосом Иван Афанасьевич.

Акулина подала черствой рукой нежную ароматическую записочку. Иван Афанасьевич поспешно ее распечатал, пробежал глазами бисерные строки и вздохнул.

Записка была написана по-французски, а Иван Афанасьевич воспитывался на медные деньги. Он не знал французского языка и в эту минуту чистосердечно проклял модное образование дочери, которым в обыкновенное время несказанно гордился. Он тер записочку, гладил ее, комкал, считал буквы и строки, вздыхал, кряхтел и не понимал ни слова.

Подумав немного, он начал шарить в карманах висевшего на стуле жилета и, не найдя ничего, снова вздохнул.

— Спасибо, Акулинушка, — сказал он, — спасибо, мать моя. Как жалованье получу, непременно подарю тебе... а теперь не взыщи, матушка. Последние отдал лавочнику.

— Помилуйте, за что же? — флегматически отвечала Акулина. — Вишь, что затеяли, пострелы такие! Записочки носят, деньги сулят, красавицей величают — тьфу!

Тут она отвернулась и плюнула в порыве сильного негодования.

— Ну, Иван Афанасьич, не осудите, что маленько потревожила вашу милость, а вот теперь на душе как-то легче стало. Из эвтаких пустяков беспокоиться нечего. Покойной, сударь, вам ночи, приятного сна.

С этими словами Акулина отправилась в кухню, мигом окончила за шпалерными ширмами

свой спальный туалет и немедленно же заснула сном спокойной совести и отличного здоровья.

Старичок остался один в сильном волнении. В руках держал он записку, стараясь по форме букв угадать смысл их, и вспоминал все французские слова, которые пришлось ему слышать на веку; но старания его оставались тщетными: он ничего не понимал. Вдруг в голове его блеснула счастливая мысль. Он поспешно зажег сальный огарок и бросился к старой полке, на которой лежало несколько запыленных книжек, дрожащей рукой отыскал между ними изорванный лексикон и, прижимая к груди драгоценную добычу, уселся к своему письменному столику и принялся за странную работу: он начал переводить по каждому слову любовную записочку, писанную к дочери. Долго сидел он так, согнувшись над столиком и записывая имена существительные, глаголы и местоимения. Фразы не клеились как-то между собою.

Смысл выходил иногда самый уродливый, но Иван Афанасьевич не терял терпения. Пот градом катился по его бледным морщинам; последнее мерцание догорающего огарка отсвечивалось красноватым отливом на седой голове — перевод подвигался медленно.

И в соседней комнате не было тоже покоя: там тоже властвовала бессонница, но бессонница, в которой было более счастья, чем горя, бессонница молодой девушки, которая боится еще любви, а уж не может не любить.

II

Две бессонницы

Когда душа наша уснула, убаюканная житейскими волнениями, когда сердце состарилось и рублевые заботы заменили волшебный мир фантазии, мы спим глупо и долго. Не возмутительное виденье, а разве докучливость недуга, разве неотвязчивость бедствия сердито прерывает сон наш. И жалко нам тогда тех счастливых ночей, когда не спалось нам вовсе, когда мы так простодушно отчаивались, так бессознательно надеялись и так сильно, так горячо, так молодо желали. Недолговечны радости, недолговечны и печали. Настает время равнодушия. С грустной улыбкой озираемся мы на старину, и грустно нам и больно, что уж нечего горячо пожелать нам на свете, нечем позаняться с нежной задумчивостью, потерзаться бессонницей.

Не спится молодой девушке. Жарко ей, душно. Голова ее горит. Волосы распустились по плечам. Она мечется со стороны на сторону. То вдруг сбрасывает она горячее одеяло, то вдруг, как бы стыдясь ночного сумрака, окутывается с ног до головы и прячет в подушки пламенеющее лицо. Что с ней случилось? Откуда эта душевная горячка, этот новый испуг и неведомый трепет? Отчего перед глазами ее хотя не совсем ясно, но неотступно мелькает образ молодого соседа с кудрявой головой, с умоляющим взором? Отчего он невидимо присутствует при всех ее мыслях? Отчего ей страшно? Отчего ей весело? И скука исчезла, и жизнь изменилась. Она сама себя не узнает. Она едва дышит, она изнемогает, она то зовет, то отталкивает милое видение... Она боится любить — она уже любит.

Но как же могло это случиться, и так неожиданно, так скоро? Давно ли она встретила? Всего какие-нибудь три недели, а точно как будто с того времени прошел целый век. Ей кажется, что она и живет-то всего три недели; вся прежняя ее жизнь — совершенно лишняя, бесцветная, бессмысленная. Да жила ли она, в самом деле, прежде, могла ли что-нибудь понимать и чувствовать?

Что она была прежде? Дитя, девочка неразумная. В чем заключалась ее жизнь? Какие

остались ей воспоминания? И вот ее недавняя старина, как отдаленное преданье, промелькивает перед ней в ночном мраке рядом одноцветных картин.

Сперва исчезают первые, едва уловимые для памяти годы детства. Нет яркой точки в этом младенчестве; все однообразно, бедно, грустно, серовато. И вдруг мрак усиливается. Она вздрагивает в невольном ужасе. Она видит темную комнату и белую кровать. Кругом черные тени, доктор, священник и бледный, дрожащий отец ее.

Ей слышатся глухие рыдания, страшный шепот и последние хриплые стоны умирающей — то смерть матери...

Картина меняется. Небосклон прояснился. Она в зеленом саду, посреди подруг одного с ней возраста. Вот все ее пансионские товарищи, все ее приятельницы *bons sujets*[7], и Маша, и Наденька, и Олинька, и Верочка. Вот и наставница с сердитым видом и доброй улыбкой. Вот все учителя, священник-батюшка, противный немец, обожаемый преподаватель русской словесности, болтун француз, вертлявый танцмейстер, ученый физик... вот все они, которых обожали и ненавидели. Теперь они все равно милы... Как столько лет могло пройти так скоро!

Давно ли она завидовала городским, а теперь она сама городская! И жаль ей прежнего времени, жаль неумолимого звонка, который будил ее утром в шесть часов, когда сон манил еще ее светлыми сновидениями. Пестрый рой молодых девушек подымался поспешно и весело, как покидают свой улей молодые жужжащие пчелы.

Вот наступает час урока. Шумно садятся девицы на места; кто повторяет заданное, кто вытирает черные доски, кто чинит мел для учителя; иные, сидя на лавках, перешептываются и смеются, другие же зевают от скуки. Дежурная дама старается восстановить общий порядок, угрожая, по обыкновению, рапортом. Наконец дверь отворилась, и, громко шаркая, влетел в классную завитой немец, прыгнул на кафедру и начал говорить об экзамене. Плохо учились в то время, но зато сколько было тогда невинных шалостей, беззаботного счастья, ребяческого нетерпения! Какую прекрасную будущность устроила тогда Настенька с своими приятельницами!

Они век останутся сестрами, будут видеться каждый день, будут долго любить кого-нибудь и выйдут замуж, каждая за своего возлюбленного, и все-таки останутся сестрами.

Слово любви произносилось украдкой, но оно сильно волновало молодые воображения. Его отыскивали в книгах, бережно скрываемых от наставниц; о нем толковали вполголоса и долго о нем задумывались. Предмет нежного мечтания олицетворялся иногда самым странным образом, в виде старшей подруги, или классной дамы, или дряхлого учителя, или давно умершего поэта. Иногда обожание образовывалось по подписке, для составления комплекта, и о том шли длинные и тайные разговоры, толки и пересуды. Бывали и другие тайные помыслы, при виде белых султанов и блестящих эплет, на улице или в часы посещения родственниками; но об этих помыслах доверялось только на ухо самой близкой и любимой подруге. День проходил скоро, потому что был однообразен. Наступал вечер, и это была лучшая для них минута. После молитвы, когда дама уходила в свою комнату, они с любопытством и тайным опасением собирались грациозной группой у кровати любимой Олиньки.

Кто садился на кровать, кто на табурет, кто на колени, подперши голову руками. Прочие, обнявшись, стояли кругом. Начинались толки о выпуске, о городской жизни, о том, с кем кто будет танцевать и можно ли отказать неуклюжему кавалеру? Об этом важном предмете начинались споры. Потом толковали о замужестве, потом начинали рассказывать страсти — про разбойников, мертвецов и страшных привидений. Собеседницы вздрагивали от невольного испуга, не смея озираться. Трепетное сияние ночника едва освещало их

боязливую кучку. Было страшно и весело. Потом сон начинал клонить к покою.

Подруги расходились. В дортуаре водворялась постепенно тишина, изредка прерываемая перекликиванием засыпающих девиц: «Mesdames, кто не спит, прощайте. Простите, что я вам сделала. Бог вас простит». Наконец все утихло, и гений-успокоитель осенял молодые вежды радужными своими крыльями.

Непостижимо, как столько лет могли пройти так скоро! Вот уж и наступила пора экзаменов. Настенька пропела с грехом пополам каватину из «Нормы», прелестно протанцевала характерный танец и не заикнулась в выученных наперед ответах о меровингейской династии. Все это было в порядке вещей. Одно показалось странным Настеньке. Подругам ее принесли щегольские обновы с лентами и кружевами; ей принесли простое белое платье, возбуждавшее общее сожаление. Настеньке было не завидно, а совестно. Действительная жизнь начиналась.

Наденька, Маша, Верочка разъехали в пышных экипажах, едва успев проститься с своей неизменной сестрой.

Иван Афанасьевич увез дочь свою на извозчике... Новая картина, новое впечатление, новое однообразное житье.

Какой прием для девушки, приготовленной для роскоши и удовольствия! Бедная комнатка в четвертом этаже, пядь, самовар, Акулина, кухня, департаментские толки, старые чиновники, копеечные расчеты. Старичок радовался присутствию дочери, и дочь была довольна радостью отца. Но понятия их были совершенно разнородны; они не понимали друг друга: он — весь век вкушавший горечь жизни, она — создавшая себе в воображении целый мир идеальный и невозможный... Трудно было отвыкнуть от заманчивых планов целой молодости; трудно было приучиться к невольному покровительственному тону прежних ее подруг, присылавших изредка за ней карету, но никогда ее не навещавших. Вовсе отказаться от них не было силы; видеться с ними было больно и досадно.

Чтение сделалось для Настеньки душевным убежищем. Но, к несчастью, у нее не было руководителя в выборе книг. Она пристрастилась к увлекательным французским романам современной школы, где вымысел гуляет на счет здравого смысла. Лекарство сделалось ядом.

Настенька зажила двойной жизнью — настоящей, которая как будто до нее не касалась, и вымышленной, поддельной, где все принимало романические формы и льстило молодому, уже заранее расстроенному воображению. Так прошел год.

И вот тому назад три недели случилось с ней что-то такое странное, неожиданное, что она сама еще понять не может, Иван Афанасьевич, как добрый и недальновидный человек, всячески старался развлекать свою Настеньку. С этой целью покупал он ей ситцевые платья, водил и на чиновничьи вечера, водил на гулянья, показывал диких зверей и панорамы и даже раз в месяц отправлялся с ней в театр. Все эти увеселения были довольно скучны, но других не было. Из взаимного угождения отец и дочь обманывали друг друга, притворяясь, что находят в них удовольствие.

Три недели назад отправились они, по обыкновению, в Александрийский театр на повторение какого-то бенефиса. Сели они, как всегда, на места за креслами. Представляли какую-то дикую драму с свирепыми возгласами и несколько водевилей с харчевенными остротами, вызывающими громкий смех и одобрение публики. Настеньке было, разумеется, очень скучно. От нечего делать она начала рассматривать сидевшие перед ней в креслах лица и с удивлением заметила одного белокурого юношу, который, обернувшись к сцене спиной, пристально смотрел в противоположную сторону. Это показалось ей странно.

«На что это смотрит он так внимательно?» — подумала она и вдруг догадалась, что он смотрит на нее. Настенька обиделась, рассердилась и покраснела. Иван Афанасьевич дремал. Настенька начала смотреть на ложи, где сидели ее разряженные совоспитанницы, не замечавшие даже ее присутствия. Молодой человек следил за каждым ее движением и, так сказать, на лету ловил ее взгляды. Это становилось нестерпимо. Настенька разбудила отца, сказала, что чувствует головную боль и хочет домой. Они вышли из театра; за ними вышел и белокурый юноша. Они сели на извозчика и поехали за пятиалтынный в Офицерскую; за ними на другом извозчике ехал тот же молодой человек. Настенька была очень недовольна. Ночь спала она тревожно. На другой день утром, накинув легкую мантилью на полуобнаженные плечи, она захотела подышать свежим воздухом и отворила окно. В противоположном доме окно было уж отворено.

У окна стоял вчерашний юноша. Настенька гневно захлопнула ставень и не отворяла уж его несколько дней.

Наконец как-то нечаянно взглянула к соседу: у соседнего окна никого не было. Настенька вздохнула свободно, но ей снова стало досадно и чего-то жаль, а именно ей стало досадно оттого, что не за что было сердиться.

На другой день она ездила по железной дороге в Павловск вместе с прежней своей подругой, Олинкой, которая вышла замуж за небогатого столоначальника и потому не прекратила с ней частых свиданий. Олинька перенесла и в брачную жизнь свой веселый, беззаботный характер. Всякая безделица забавляла ее, а о невозможном она и думать не хотела. Настенька нередко отводила с ней душу воспоминанием прежних шалостей, веселилась ее неизменным весельем и потому весьма охотно приняла ее предложение прокатиться по железному пути и послушать музыку тогда только прибывшего Германа. Сопровождал их столоначальник, муж Олинки. Ивану Афанасьевичу было некогда. Как только они поместились в линейку, с ними рядом сели два молодые человека — один черноволосый, другой белокурый, опять тот же. Машина свистнула. Настенька вздрогнула, Олинька засмеялась.

— Не прикажете ли окно поднять? — нежно сказал белокурый.

Эти слова показались Настеньке чрезвычайно умны и дерзки.

Олинька поблагодарила. Столоначальник заметил, что железные дороги — великое изобретение, и такой неоспоримой истиной возбудил общий разговор.

Одна Настенька молчала и внутренне сердилась на подругу свою за то, что она так развязно и смело говорила с незнакомыми. Белокурый заводил речь с Настенькой, но довольно неудачно. Всевозможные замечания насчет вагонов, летнего времени, петербургских окрестностей и северного климата едва удостоились легкого кивания смуглой головки. Черноволосый был счастливее: остроты его, не всегда удачные, возбуждали веселый смех Олинки и немедленные ответы.

Подъезжая к Павловску, столоначальник взял его за руку и просил быть знакомым. Олинька успела уж рассказать, кто они такие, где воспитывались и где живут.

Целый вечер гуляли они вместе. Белокурый все преследовал Настеньку своими вопросами и наконец вынудил одно слово, потом два, потом целую фразу, потом едва сдерживаемую улыбку, потом улыбку настоящую. После этого разговор уж пошел своим порядком, разумеется о всяких пустяках, но время прошло чрезвычайно быстро. Возвратились они тоже вместе. При расставании белокурый шепнул Настеньке:

— Увижу ли я вас завтра?

— Где? — спросила та вполголоса.

— У окна, — сказал он нежно. — Если б вы знали...

Более он не договорил.

На другой день Настенька отворила окно, но не взглянула на соседа, а только почувствовала, что он тут.

На третий день ее не было дома. Она его не видела, и ей было очень скучно. На четвертый же села она с работой у окна. Он уж ждал ее... Взоры их встретились. И вот уж третья неделя, как они живут таким образом.

Она знает, она чувствует, что он тут, что он охраняет ее своим присутствием, что он жизнью своей готов для нее пожертвовать... Счастливые годы молодости! Настенька не сомневается, не подозревает, а верит с неограниченною верою души пылкой и молодой. Ее мучит, правда, немного совесть, но в этом мучении таится беспредельное счастье. Они видятся каждый день. Куда бы ни вышла Настенька — в лавку, на гулянье, сосед мелькает издали за ней, как тень. Редко приводится ему сказать ей наскоро несколько слов без связи, иногда без смысла, да не в том дело: быть бы только в одном месте, подышать воздухом, обменяться взорами — неужели это уж не блаженство?

Как устоять бедной романической девушке против такого искушения! И потом, что ж она сделала такое?

Правда, он преследует ее на улице, но улица для всех устроена. Правда, он заговаривает с ней в магазинах и при выходе из церкви, но она ведь с ним познакомилась на железной дороге: с знакомыми говорить можно по правилам простого общежития — дурного ничего нет: все в порядке вещей.

И все-таки не спится Настеньке; все-таки она мечется со стороны на сторону, и дрожит, и пылает, и дышит с трудом, и улыбается сквозь слезы. Настала роковая минута... Не заснет всю ночь бедная девушка!

А там, в узкой своей каморке, старый чиновник тихо задремал над своей безуспешной работой. Старость одолела волнение духа. К тому же в письме, очевидно, было более слов, чем дела. Тут говорилось о небе, о звездах, о государствах неба (*puissance du ciel*)[8], о цветах души, о каком-то идеале... о совершенной бессмыслице.

Иван Афанасьевич пожимал плечами протирал глаза, потом, отыскивая какое-то небывалое слово, нагнул голову на лексикон и мало-помалу начал засыпать.

Но прежде он обдумал свой план и решился. Завтра он пойдет к соседу и, собрав о нем подробные сведения, скажет ему: «Молодой человек, позвольте узнать чин, имя и фамилию. Дочь моя штаб-офицерша, и ей неприлично получать записки. А если вам угодно просить руки ее, так мы еще посмотрим. Позвольте иметь честь познакомиться». Может быть, он и хороший человек, и посватается, и приглянется Настеньке — все в воле божией. Если же этот неизвестный сочинитель записочек просто прощальщик какой-нибудь, то думать тут нечего долго. Иван Афанасьевич пристроит сперва Настеньку к надежному месту, а сам воспользуется предложением Дмитрия Петровича, казначея, и отправится в вотчины старой графини. Крепко, однако ж, не хотелось ему этого. В известные лета привычка становится второй природой. Иван Афанасьевич не понимал, чтоб утро можно было провести иначе, как в департаменте, вечер иначе, как дома, за самоваром, с дочерью и Акулиной.

И как ему, старику, ехать в такую даль, но совершенно для него новому делу? Да притом он к этому делу, может быть, вовсе и неспособен: тут надо действовать от себя, приказывать,

распоряжаться, быть самостоятельным, а он век был незаметным колесом в огромной машине. Из него хотят сделать строгого ревизора, ратоборца за чужие выгоды, а он всегда был кроток и тих. Таков уж нрав его. Если сторожа попросит почистить вицмундир щеткой, так всегда приговаривает: «Пожалуйста, любезный; сделай одолжение; потрудись, голубчик». У простого писаря попросит очинить перо и всегда скажет притом: «Извините, что побеспокоил».

И странно, что с таким смирением сплось какое-то детское чувство тщеславия! Чин Ивана Афанасьевича удивлял его и приятно льстил его самолюбию. О том не было в помине, что чин был приобретен тридцатилетним неусыпным трудом.

Иван Афанасьевич никогда ничего не откладывал из жалованья в сторону, потому что обязан был, по его словам, жить по чину. Дочь свою воспитывал он в модном пансионе, потому что иначе по чину было бы неприлично. Покойница его, Марья Алексеевна, была тех же правил. Небольшой капитал ее был давно прожит для поддержания амбиции, чиновных угощений и пустых издержек.

Наконец Иван Афанасьевич опомнился. Смотря на дочь, которая по смерти его останется без пристанища, ужасаясь при мысли обо всем, что предстоит ей в будущем, он из любви к ней почувствовал, что готов был пожертвовать даже своею чиновною гордостью и согласиться на частные условия... Но бог знает, чего это ему стоило.

III

Неудача

А во время двух бессонниц весеннее утро начало оживлять Петербург. Над крышами, позолоченными солнцем, закружился опаловый дымок. Ни одного облака не было на светло-голубом небе. Ласточки ныряли в воздухе, а радужные голуби, воркуя на подоконниках, стучались в окна. Ранние разносчики весело выкрикивали свои заученные напевы. Целые толпы нищих дожидались у питейных домов; по улицам выглядывали дневные извозчики. Лавочники отворяли ставни своих лавок. Обрадованный солнцем, Петербург весело просыпался. Вот он проснулся, оправился, зашевелился и закипел.

Вчерашний день уж канул безвозвратно в вечность, а нынешний торопится жить.

Утро Ивана Афанасьевича прошло как-то странно. Он брился без обыкновенного внимания, пил чай без удовольствия, был весь не свой. Настенька вздыхала и задумывалась; даже Акулина была не в духе. Изредка раздавались между ними кое-какие замечания, но так себе, без надобности, почти без смысла. О вчерашнем ни полслова. Настенька печально склоняла головку. Акулина поддерживала щеку широкою ладонью. Старичок хлебал свой чай с удивительной решимостью и торопливостью.

Наконец пробил час идти в департамент. Иван Афанасьевич машинально пригладил изломанным гребнем редкие свои волосы пучком ко лбу, посмотрелся нехотя в разбитое зеркальце, завязал бантик истертой косынки, надел вицмундир, рассеянно поцеловал дочь и, кликнув Акулину, сказал ей на ухо несколько слов; Акулина кивнула головой в знак согласия и послушания. После этого Иван Афанасьевич спустился с лестницы и вышел на улицу, но не повернул, по обыкновению, вправо, по пути к департаменту, а, оглядевшись со всех сторон, прямо вошел в ворота балыкинского дома. Позвонив без всякого успеха несколько раз у конурки дворника, он поплелся, вздохнув, на самый двор, продолговатый и грязный, и наткнулся на кучера, который вытаскивал сбрую из сарая.

— Дома дворник? — спросил приятным голосом Иван Афанасьевич.

— А леший его знает, — отвечал кучер. — Мы господские.

Иван Афанасьевич продолжал путь. Навстречу к нему шел парень в красной рубашке.

— Не знаешь ли, голубчик, — учтиво сказал ему Иван Афанасьевич, — где бы найти мне дворника?

— Чего-с? — сказал, останавливаясь, парень.

— Где бы найти мне дворника? — повторил Иван Афанасьевич.

— Дворника, что ли, вам надо?

— Да, любезный, мне надо бы дворника.

— Здешнего, то есть, дворника.

— Здешнего, братец, здешнего.

— Та-ак-с... Мы чужие, — добавил хладнокровно парень и, не оборачиваясь, вышел в ворота.

Надворный советник стоял в замешательстве посреди двора и жалобно поглядывал на окна, на которых за крашеными решетками стояли банки, бутылки и всякая посуда.

В эту минуту вынырнула неизвестно откуда прямо к нему под ноги запачканная и нечесаная девчонка в оборванном платке по самые пятки.

— Кого вам надо? — запищала она.

— Дворника, милая.

— В лавочку ушел, — пискнула снова девочка.

Из окна почти подземельного жилья высунулась баба с повязанной толовой.

— Кого спрашивают? — крикнула она сиплым голосом.

— Кто здесь дворник? — сказал Иван Афанасьевич, не теряя терпенья.

— Да никак я буду, — отвечала баба.

— А хозяин-то вышедши? — продолжал догадливый надворный советник.

— Вышедши, батюшка, вышедши. Ключи-то оставил на всякий случай, коли фатеры придут нанимать, а сам вышедши, батюшка, точно вышедши.

— В лавочку ушел, — снова начала пищать девочка.

— Врешь ты, окаянная! — закричала баба. — Где опять выпачкалась? Пошла, поганая, домой! К надзирателю, сударь, пошел, пачпорты прописывать. Скоро, чай, вернется... Да вот никак и сам идет.

В самом деле, на двор вошел багровый привратник дома, с включенной бородой, в армяке нараспашку.

— Терентьич! — закричала баба. — Тебя спрашивают.

После этого баба исчезла в подземелье. Дворник недоверчиво взглянул на старика.

— Фатеру, что ли-с? Извольте-с. Три стоят порожние: в восемь тысяч, в три тысячи, в три с половиной. Уступку можно сделать-с. Али дорого для вас?..

Сердце Ивана Афанасьевича сильно билось.

— Нет, — сказал он, несколько оробев и не зная, чем начать свои расспросы. — Квартиры-то мне не надо... а так, спросить только хотелось. Мне говорила Акулина, то есть кухарка моя... да не в том, впрочем, дело... А вот, видишь ли, любезный... Этот дом купца Балыкина?.. а?..

— Балыкина-с.

— Кондратья Иваныча.

— Точно.

— Да-да, знаю... человек с капиталом. Чем, бишь, он торгует? Красным товаром, кажется?

— Не могу знать-с.

— Да-да... славный домик, много стоит. А ну-ка, скажи-ка, братец... Много ли жильцов у вас?

— Жильцы есть, как не быть жильцам!

— А вот, любезный, кто же это у вас с улицы в третьем этаже живет?

— А господь их ведает. Много их там.

— Нет, братец, а вот из молодых, из молодых-то людей.

— Один живет, точно-с.

— А ну... ну... вот... вот... мне этого-то и надобно. Как, бишь, его фамилия?

— А вам на что? — грубо спросил дворник.

Иван Афанасьевич еще более смешался... С отчаянием начал он шарить в карманах, не отыщет ли залежалого гривенника, но все поиски оказались тщетными.

— Нет... я так... — начал он снова, — ищу одного знакомого... Отец писал... просил наведаться... Стороной узнал, что живет здесь... Ведь это Балыкина дом, Кондратья Иваныча?..

— А как вашего знакомого-то зовут? — спросил лукаво дворник.

Иван Афанасьевич совершенно растерялся.

— Как зовут?.. Как, бишь?.. Ах, память-то у меня старая!.. Вот сейчас помнил... Ну, помоги, братец... Не взыщи, мелких с собой не взял, а вот уж-тка, мимо буду идти, занесу полтинничек.

— Пруткова, что ли, вашей милости надо? — сказал дворник более смягченным голосом.

— Да-да... братец, Пруткова, именно Пруткова — вспомнил теперь.

— В третьем этаже, на правую руку, номер девятый. Вот-с по этой лестнице.

Иван Афанасьевич не продолжал неудачных расспросов и смиренно поплелся по указанному

пути.

Дворник посмотрел, ему вслед, а потом, порассудив немного, идти ли самому в конуру или снова в лавочку, крикнул, тряхнул головой и отправился уж прямо в распивочную.

Иван Афанасьевич не без труда добрался до третьего этажа. У девятого номера он остановился и начал стучаться, за неимением колокольчика. Ответа не было.

Иван Афанасьевич отворил дверь, которая едва держалась на ржавом замке, и вошел в пустую с грязными стенами переднюю, где начал смущенно пошевеливаться, громко вздыхать и кашлять.

— Кто там? — закричал изнутри свежий молодой голос.

Иван Афанасьевич осторожно отворил другую дверь и увидел смуглого, черноватого молодого человека, который сидел на постели, спустив ноги на пол, и усердно играл на гитаре. Быстрыми черными глазами взглянул он с удивлением на странную фигуру старика, который высовывался из-за дверей. Несколько времени оставались они так, взаимно рассматривая друг друга.

— Кого вам надо? — спросил наконец молодой человек.

Иван Афанасьевич поклонился и спросил довольно учтиво:

— Господина Пруткова.

— Я Прутков. Меня дома нет. Я по утрам никого не принимаю.

Иван Афанасьевич сконфузился и хотел уж идти домой, но потом вспомнил, что дело идет о дочери, что он недаром отец и что он, что ни говори, наконец все-таки надворный советник, что ему робеть нечего перед мальчиком. Вследствие этого рассуждения он ободрился и подошел к молодому человеку.

— Вы меня, сударь, извините, — сказал он, — а дело вышло теперь экстренное. Я должен переговорить с вами об одном обстоятельстве.

— Уж не денег ли вы привезли от бабушки? — поспешно воскликнул Прутков, вскочив с постели. — Сделайте одолжение, садитесь, пожалуйста.

Иван Афанасьевич сел и, обтирая лицо платком, окинул взглядом комнату. На стенах нарисованы были бойко углем какие-то карикатуры. Между ними под разбитыми стеклами улыбались кое-какие греведоновские головки.

Вся мебель была переломана и покрыта страшными слоями пыли; небольшое фортепьяно с пожелтевшими клавишами едва держалось на трех ножках. Письменный стол, обтянутый истертым зеленым сукном, был весь исписан мелом; на полу валялись карты и пустые бутылки.

В углу, среди кучек табачной золы, возвышалась пирамида чубуков и изломанных рапир. На самом почетном месте висело ружье с патронташем и прочим охотничьим снаряжением, а под этим трофеем, на дырявом диване, спала мохнатая собака, свернувшись кольцом.

— Вы меня извините, — учтиво продолжал Прутков, — что я вас здесь принимаю. Эта квартира еще не отделана, да и мала для меня. Я намерен на днях переехать к Леграну. Знаете, там отдается верхний этаж, а здесь, видите сами, высоко и низко. Да, как нарочно, все люди мои разошлись, не успели еще ничего убрать.

Эй вы, Федор, Сидор, Иван, — начал он кричать, — где вы, мошенники?.. Куда спрятались? Это удивительное дело, как нарочно никого нет! Садитесь, пожалуйста, на другой стул, этот, кажется, не очень надежен.

— Не извольте беспокоиться, — отвечал Иван Афанасьевич, осматривая с опасением свой стул и пересаживаясь на другой, не более надежный.

— Нет, нет... сделайте одолжение. Мне, право, совестно, что вы меня так застали. Вчера я одолжал свою комнату товарищам — и вот как они мне ее отделали. Да вы сами знаете, — продолжал он, улыбаясь, — люди молодые...

— Конечно-с... Молодость... Оно хорошее дело. Только, коли смею доложить, не всякое же дело и годится для молодости. Кто молод не бывал! Вот и я был молод-с. Только не все же и годится. Пошутить, кажется, можно... для чего же нет? Только честных барышень, дворянок, так сказать, штаб-офицерских дочерей заманивать записочками, позвольте вам доложить, не хорошо-с, право не хорошо-с!..

Эти слова выговорил Иван Афанасьевич с необыкновенной твердостью.

Молодой человек закусил губы.

— Я не понимаю, — вымолвил он, — что вам угодно.

— Мне угодно, чтоб вы дочь мою оставили в покое. Ведь, помилуйте-с, ведь она дочь моя. Ну что, в самом деле, вы в ней нашли? Она, ей-богу, не такая, не таких правил, не так воспитана. Мало ли других, скажите, в Петербурге? Ведь она без матери. Виновата ли она, что господь бог призвал мою Марью Алексеевну — царство ей небесное? Была бы покойница жива, ведь этого бы не случилось, не допустила бы она, моя голубушка... смей-ка кто сунуться! А теперь дочь-то одна у меня одиныхонька дома. Я, извольте видеть, по долгу обязанности целое утро на службе в департаменте сижу. Ну, посудите сами, как же мне усмотреть, как мне, старику, угоняться за вами, молодыми людьми? Долго ли обмануть старика, ну, сами посудите, человек вы молодой. Впрочем, и то позвольте доложить: люди мы небогатые, живем не по чину, а амбиция своя все-таки есть. Да и начальство нас знает с хорошей стороны: в случае необходимости защитит, поверьте, не позволит ругаться над нами.

Прутков начал настраивать гитару.

— А где вы служите? — спросил он рассеянно.

— По солянному ведомству-с.

— И так-таки и служите? И хорошо служите?

— Не могу жаловаться.

— Награжденья получаете?

— Как же-с.

— Скажите пожалуйста, как приятно. Ну, а что же вам угодно?

— Как что-с... Да я объяснил, кажется, относительно записки.

— Какой записки?

— Да вот этой записки, — продолжал Иван Афанасьевич, подавая молодому человеку известное французское письмецо.

Прутков посмотрел записку и отдал ее старику.

— Почтенный старец, — сказал он, слегка всхлипывая, — я вхожу в ваше положение. Позвольте обнять вас... Вы мне жалки, очень жалки. Но вы ошибаетесь: я не писал этого письма, я не волочусь за молодыми девушками, это противно моим правилам. Я женат, — прибавил он шепотом.

— Вы... помилуйте... в таких молодых летах?

— Это секрет, — продолжал шутник, — не говорите никому. По некоторым причинам я должен еще скрывать свою женитьбу... Но вам, как заботливому отцу, я обязан открыться, не говорите только об этом никому...

А лучшим доказательством того, что я не мог писать записки, то, что она написана по-французски, а я никогда не мог выучиться французскому языку, как меня ни секли, — в этом могут присягнуть все мои товарищи.

— Так кто же писал? — спросил в замешательстве Иван Афанасьевич. — Мне сказала Акулина, что именно отсюда, из балыкинского дома.

— Мало ли здесь живущих! Вот внизу здесь у нас живет аптекарь. Я за ним давно замечаю. Человек уж старый, за шестьдесят, а, верите ли, такой волокита, что боже упаси! Советую вам хорошенько за ним Присмотреть. Должно быть, он, а не он, так уж, верно, другой кто-нибудь.

Иван Афанасьевич перебирал в руках шляпу и не мог собрать мыслей. Он понимал темно, что его дурачат, что ему следовало бы обидеться, но в то же время ему было не до того. Он чувствовал, что в этом молодом человеке нет прока. Писал ли он записку, не писал ли ее, все равно — на него плоха надежда. Во что бы ни стало надо спасти Настю от шалуна. И нечего делать — надо решиться, надо послушаться Дмитрия Петровича, надо принять предложение графини.

Иван Афанасьевич глубоко вздохнул и встал с места.

— Ну, извините... — сказал он медленно. — Не вы, так не вы. Ошибка в укор не ставится. Только странно, право... Как же мне это Акулина говорила, что именно отсюда. Да и записка тут. Ну, хорошо, что дочь об этом не знает. Шутка ли, благородную девицу, штаб-офицерскую дочь позорить такими пасквилями! Как узнать теперь?.. Что ты станешь тут делать?.. Ума не приложу... Ну, не вы, так не вы... Тут и говорить нечего... Извините, что побеспокоил. А если вы, так бог вам судья... у вас у самих будут дети.

Сказав это, Иван Афанасьевич печально и медленно вышел из комнаты.

Молодой человек проводил его церемонно до двери и потом, притворив дверь, начал выплясывать с ожесточением разнохарактерные танцы и кончил кувырканьем на кровати.

Новый гость застал его во время этого странного занятия.

То был тоже молодой человек, но белокурый, тщательно обстриженный и, в противоположность товарищу, щегольски опрятный. Не удивляясь нисколько странным телодвижениям хозяина квартиры, он отправился в угол комнаты, приготовил себе трубку, а потом расположился у окна, нежно и спокойно поглядывая на окна противоположного дома. У Настеньки шторы были спущены. Молодой человек вздохнул.

— Беда! — начал скороговоркой и запыхавшись Прутков. — Не говорил ли я тебе, что писать никогда не следует?

— Что случилось? — спросил белокурый.

— Твое письмо попало в руки старику, который осчастливил меня своим посещением и вздумал было читать мне проповедь, предполагая, злодей, что я умею писать по-французски. Чуть-чуть не разжалобил меня, старый сапожник, да ты меня знаешь: своих не выдам.

Уж что другое, а на это молодец!

— Что ж он говорил тебе?

— Мало ли что!.. Что он старик, не может углядеть за дочерью, что она офицерша, что грешно заманивать молодых девушек...

— Он прав, — сказал печально белокурый.

Прутков начал смеяться.

— Зачем же ты все это делаешь?..

— Не смейся, Прутков, будь во всем добрым малым. Я чувствую себя вполне виноватым перед этим стариком. Да что ж мне делать? Началось дело шуткой... а теперь я с ума схожу. Я знаю, что ни для меня, ни для нее не может быть счастья впереди... Но когда я ее вижу — с меня довольно. Я ничего не помню, ничего знать не хочу. Я живу тройной жизнью. Мне кажется, что она одна на земле и что вся земля только для нее и создана.

День, в который я ее не вижу, для меня не день... Время, которое я провожу вдали от нее, совсем лишнее, совсем ненужное; люди кажутся мне куклами, да и вся жизнь без нее как-то мертва. Поверишь ли, она меня успокоила, она возвысила все мои чувства до светлого и тихого сознания моего достоинства и моей силы. Прежде я всегда был взволнован, я все искал чего-то, все был чем-то недоволен, теперь, напротив, дух мой смирился, сердце мое нашло то, чего просило. Я ее люблю потому, что мне следовало ее любить. Старик отец разлучит нас, вероятно, скоро — и я должен покориться, я не смею жаловаться. Но тогда память о ней будет жить в моей памяти, но всегда свято, светло, тихо и грустно. С ней я буду жить, с ней я и умру.

— О-го-го!.. — заметил Прутков. — Да это просто поэзия, мелодрама, сударь ты мой. По-моему, все это, братец, вздор! Мы живем не на облаках, хотя и недалеко... то есть я о себе говорю. Умереть всегда успеешь, а покамест поживи хорошенько. Ты имеешь состояние, молод, хорош — чего тебе еще? Мучиться тут нечего.

Полюбил нынче, полюбишь и завтра. Не удалось нынче, завтра удастся. Все перемелется — мука будет.

Лови, лови

Часы любви![9]

Да не пройтись ли нам по хересам?.. Пошли за вином...

Белокурый сел безмолвно у окна. Сердце его билось, глаза его горели. В противоположном доме у заветного окошка тихо подымалась стора... вот она поднята... вот за стеклами рисуется смуглая грациозная головка. Молодой человек, бледный и трепетный, не переводил дыхание. Она его заметила, взглянула на него с невольной улыбкой и лукаво приложила

палец к губам.

Читатель! Бывал ли ты молод?..

IV

Знакомство

В Петербурге есть особый класс отлично выбритых и гладко обстриженных чиновников, больших охотников до знати и знатных особ. Люди они не молодые, но чрезвычайно почтительные и аккуратные. В торжественные дни поставляют они себе первой обязанностью записать свою фамилию в швейцарских аристократических домов, до хозяев же доходят редко, и только тогда, когда могут быть на что-нибудь полезны, на основании того светского правила, что мы всегда находим приятелей в нужде, то есть когда в них нуждаемся. В таких случаях им говорится всегда «ты», и они весьма этим довольны, не понимая, чтоб могло быть иначе. Никто лучше их не умеет спросить о здоровье, поздравить с днем ангела или почтительно улыбнуться в случае удостоения какой-нибудь шутки. Смеяться они не станут. Смеяться — значит фамильярность, но улыбнуться кстати — совсем другое дело. Улыбка значит: понимаю, радуюсь, чувствую, соглашаюсь, благодарю, но отнюдь не смею ставить себя наравне с вами. Для петербургской знати такие лица именуются нужными человечками. Их никогда не приглашают, но посылают за ними по утрам для деловых переговоров. Они употребляются большею частью для рассылки по разным переулкам светской жизни, составляют деловые бумаги, приискивают денег под вексель и не требуют ни награждения, ни благодарности.

Лестное знакомство для них достаточно; милостивое внимание приводит их в восторг, благосклонная ласка сводит их с ума.

К разряду таких оригиналов принадлежал Дмитрий Петрович, казначей, приятель Ивана Афанасьевича.

Дмитрий Петрович был человек кругленький, маленький, толстенький, чистенький, обстриженный, приглаженный. С утра в вицмундире, с отлично накрахмаленной манишкой, с большой золотой цепочкой на черном атласном жилете.

На службе товарищи посмеивались обыкновенно над его слабостью к аристократии, над его знатным кругом знакомства, но это было более на словах; некоторые завидовали ему, а весьма многие глядели на него с невольным уважением.

Дмитрий Петрович был человек честный и миролюбивый, добрый муж толстой немки и чадолубивый отец несметного количества пухлых ребятишек. Он душевно уважал Ивана Афанасьевича и искренно желал ему добра.

Как только, измученный сомнением и неудачей, старый надворный советник явился в департамент, Дмитрий Петрович бросился к нему навстречу.

— Иван Афанасьич! Легко на помине. Мы только о тебе толковали.

— Обо мне, Дмитрий Петрович?

— Да, братец, о тебе. Я сейчас от графини, зашел, знаешь, понаведаться, все ли по-обыкновенному. Швейцар говорит: «Графиня к вам посылать изволила, очень, дескать, нужно видеться». Я тотчас велел доложить, графиня ко мне всегда так милостива, мы с ней

попросту, без церемонии. «Чем, мол, говорю, могу иметь счастье угодить вашему сиятельству?» — «А вот, любезный, говорит, помоги, братец, пожалуйста; опять получила письмо из деревни: большие беспорядки. Сходи-ка за чиновником, о котором ты мне говорил; надо ему ехать как можно скорее; сходи-ка за ним». Я уж и знаю, что застану тебя в департаменте, пришел за тобой, а тебя еще нет. Слышишь ли? Что ж ты стоишь как вкопанный?

— Слышу, слышу, — задумчиво говорил Иван Афанасьевич, — видно, в самом деле надо. С этими сорвиголовами не сладишь. На то они молоды, на то они сметливы. Где мне углядеть, старому болвану!

— Что ты, братец, за околесную понес! Пойдем-ка лучше скорей.

— Куда? — с беспокойством спросил Иван Афанасьевич.

— К графине.

— К какой графине?

— Ну да, к графине. Что ты, глухой, что ли?

— Помилуйте, Дмитрий Петрович, как можно теперь... дайте-ка подумать, приготовиться, а то вдруг так-таки и идти. Да вот надо мне еще сшить пару хорошую: совсем, право, обносился. Сами посудите, нельзя же, в самом деле, так показаться: доверия не будет.

— Полно, братец, вздор городить! Большая надобность графине в твоём вицмундире. Ступай как есть.

— Извольте, извольте, Дмитрий Петрович, через недельку.

— Экой бестолковый какой! Говорят тебе, что сейчас.

— Ну, делать нечего, Дмитрий Петрович, хорошо, извольте, завтрашний день.

— Фу ты, братец! Говорят тебе, что графиня сию минуту дожидается ответа; согласен — ступай за мной, не согласен, так убирайся куда хочешь, а я доложу графине. Понимаешь? Ясно, что ли? А уж тогда пеняй на себя. Такого случая не встретится уже ни для тебя, ни для твоей дочери. Ну, едем!..

С этими словами Дмитрий Петрович почти насильно вывел Ивана Афанасьевича в переднюю, приказал надеть на него шинель и калоши и посадил на свои дрожки.

Дмитрий Петрович, как человек светский, держал собственную лошадь.

Во время поезда Дмитрий Петрович, довольный добрым делом, напевал подлым тенором какую-то итальянскую арию. Иван Афанасьевич молчал как убитый.

Через несколько минут дрожки остановились у подъезда графини. Дмитрий Петрович поздоровался с швейцаром как с весьма знакомым человеком и приказал доложить.

Подождав довольно долго в передней, где несколько старых официантов в черных фраках и белых галстуках спокойно остались на стульях, не прерывая карточной игры, чиновники получили ответ, что графиня их просит. Они прошли несколько комнат, красных, желтых и голубых. Убранство комнат отличалось роскошью, но не той молодой, цветистой роскошью, которая радует глаза и располагает душу ко всем покупным удовольствиям жизни. Повсюду была заметна странная смесь современных причуд моды с старинными памятниками давно прошедших времен. Обветшалые формую мебели были покрыты новым штофом. Тяжелые

бронзы времен французской империи украшали камин, щегольски одетые бархатом. Нигде не было гармонии, и при виде этих несогласных между собой богатств невольно рождалось то тяжкое и страшное впечатление, которое смущает душу при виде разряженного труппа.

Дмитрий Петрович шел развязно впереди, за ним, как в воду опущенный, скользил по паркетам Иван Афанасьевич.

Наконец, у одних дверей Дмитрий Петрович остановился вдруг, как осаженная лошадь, а Иван Афанасьевич, шедший за ним в раздумье, едва не сшиб его с ног и не полетел сам на пол для первого своего дебюта в большом свете.

Согнувшись дугой, сколько позволяла ему природная тучность, Дмитрий Петрович начал выступать как старый танцмейстер, перемешивая поклоны следующими изречениями:

— По приказанию вашего сиятельства (поклон)... имею честь (поклон)... представить того человека (поклон)... который, надеюсь, заслужит вполне (поклон)... милостивое внимание вашего сиятельства (два поклона)...

Иван Афанасьевич неловко поклонился, заглянул за большие бархатные ширмы и едва не отступил от удивления. Перед ним сидела румяная и молодая женщина в щегольской кружевной мантилье, в чепчике с лиловыми бантами. «Уж не ошиблись ли мы?» — подумал Иван Афанасьевич. Но в эту минуту графиня улыбнулась, и Иван Афанасьевич убедился, что она старуха и вдобавок весьма старая. Тысячи морщин молнией пробежали по ее странному расписному лицу. Хриплым, почти гробовым голосом велела она карлику приблизить два стула и ласково обратилась к Ивану Афанасьевичу:

— Садитесь, пожалуйста. Вы меня извините, я говорю по-русски дурно. В наше время мы не учили русский язык.

В словах графини действительно слышался резкий иностранный выговор.

— Мне сказал Дмитрий Петрович, — продолжала графиня, обмахиваясь большим опахалом и выказывая довольно еще красивые руки, — что вы согласны помочь мне по моим делам. Вы знаете, мы, светские женщины, ничего этого не понимаем, и потому вы можете быть моим благодетелем.

После такого вступления старая графиня начала чрезвычайно отчетливо и ясно говорить о своем имении, вычисляя количество земли удобной и неудобной, объем запашки и сенокосов и распространяясь насчет мельниц, строевого леса и рыбных ловель. В полуфранцузской ее речи резко промелькивали народные технические именованья, свидетельствующие, что она очень хорошо изучила всю подноготную суть деревенских доходов и оброчных статей.

Дмитрий Петрович почтительно кивал головой. Иван Афанасьевич, сидя на кончике стула, слушал с удивлением.

«Ай да старушка, — думал он, — министр, да и только!»

Графиня не умолкала.

В коротких словах коснулась она злоупотреблений, необходимых в управлении имениями при отсутствии владельцев, потом рассказала, как поверенные ее всегда подкупаются сметливыми торговцами, имеющими дело с ее конторой. По этой причине частые ревизии необходимы. С провинившимися надо для примера поступать строго, взыскать по возможности или даже представить в суд, на каковой случай Иван Афанасьевич получит письмо к губернатору. Потом объявила она, что до сего времени не может размежеваться с соседом, который хочет завладеть ее землей, тогда как между ними постановлена была межа

и существует живое урочище.

Наконец, она упомянула еще об одном тяжёлом деле с соседом, устроившим какую-то плотину, от которой потопляются ее луга. Все это надо было привести в известность и порядок. Вообще доходы надо было умножить по возможности, потому что она нуждается в деньгах и привыкла много проживать.

— Мне совестно, — заключила графиня, — предложить вам какое-нибудь жалованье. Ваши труды будут для меня дружеским одолжением. Я их никогда не забуду. Впрочем, Дмитрий Петрович должен условиться с вами насчет издержек. С своей стороны, я надеюсь, что вы не откажетесь помочь бедной старухе.

Эти слова выговорила графиня с некоторым кокетством. Иван Афанасьевич встал с своего места.

— Усердие мое... — начал он.

— Садитесь, пожалуйста, — прервала графиня.

— Усердие мое... — продолжал, садясь, Иван Афанасьевич, — может быть, с помощью божией в отношении этих дел, одолеет какие ни на есть препятствия. Я человек простой, ваше сиятельство, и, как смею доложить, не люблю неправды. Прослужив тридцать с лишком лет, слава богу, я кое-чему и наметался. Исполнить ваше желание не бог знает что такое.

— Так вы согласны ехать? — спросила графиня.

— Позвольте доложить, — сказал, вставая, Иван Афанасьевич.

— Садитесь, пожалуйста, — прервала графиня.

— Позвольте доложить, — продолжал, садясь, Иван Афанасьевич, — я бы с моим удовольствием, да тут явилось одно-с обстоятельство. Небезызвестно, может быть, вашему сиятельству, что при мне находится единственная моя единородная дочь. Недавно только кончила воспитание; сами изволите знать, девушка молодая, с собой взять на короткий вояж невозможно. Она у меня сложения деликатного. Здесь же оставить тоже нельзя-с... родственников близких никого нет-с...

— Несравненная девица! — почтительно присовокупил Дмитрий Петрович. — Какая образованная! Какая, можно сказать, воспитанная! Во всех науках была первая. Если б изволили слышать, как по-французски говорит, и какая прекрасная собою, смею доложить, редко видывал таких красавиц... да мало, что красавица, а главное, какая обходительная! Как умеет держать себя, знает, как и чем угодить всякому, — редкая, можно сказать, девица!

— Добрая, добрая девка, — выговорил, немного забывшись, растроганный Иван Афанасьевич.

— Это все можно устроить, — добродушно начала графиня. — Дочь ваша могла бы жить до возвращения вашего у меня. Ей, может быть, с старухой будет немного скучно, да я постараюсь помолодеть для нее.

Дмитрий Петрович выразительно взглянул на Ивана Афанасьевича.

— Это даже будет для меня новым одолжением. Я воспитанницу свою выдала замуж, а теперь живу одна, то есть с моей приятельницей, Клеопатрой Ильиничной, которая, по дружбе своей, меня не оставляет.

Тут только чиновники заметили, что в комнате в уголку сидела еще дама, и дама старая,

безмолвная, нахмуренная, в чепчике, с шерстяным вязаньем в руках.

— Клеопатра Ильинична будет неотлучно с вашей дочерью.

Иван Афанасьевич почтительно поклонился Клеопатре Ильиничне. Клеопатра Ильинична сделала гримасу, как кошка, которой отдавили хвост, и продолжала свое вязанье.

Графиня все становилась ласковее. В ней действительно проглядывала добрая душа.

— Как ваше имя? — спросила она.

— Иван-с... — сказал Иван Афанасьевич, вставая с места.

— Садитесь, пожалуйста, а по бабушке?

— Афанасьев.

— Иван Афанасьич, я надеюсь, мы будем хорошими друзьями. О дочери вашей не беспокойтесь, я уверена, что мы скоро полюбим друг друга... я скоро привязываюсь. К тому ж она может сделать знакомство, у меня многие бывают, может быть, мне удастся и судьбу ее устроить. Знаете ли, Иван Афанасьевич, вы обо мне позаботьтесь, а я буду заботиться о вашей дочери. Может быть, она найдет здесь свое счастье.

— Матушка! Ваше сиятельство!.. — воскликнул, вскочив с места, Иван Афанасьевич.

— Садитесь же, пожалуйста.

— Ваше графское сиятельство, — сказал растроганным голосом Иван Афанасьевич, — коли вы Настеньку мою пристроите, так я не только в ревизоры, для вас сам землю пахать пойду. Это-то меня и сокрушает. Ведь только слава, что обер-офицер, а нынче меня не стало — с кем останется Настенька? Состояния ведь никакого. Поверите ли, по ночам не сплю. Пенсию дадут, да штаб-офицерскую. А ведь она у меня избалованная, по французскому воспитанию. Что с ней будет? Не оставьте, ваше графское сиятельство! По гроб жизни стану за вас бога молить.

— Клеопатра Ильинична! — сказала графиня. — Прикажите приготовить комнату, где жила Машенька.

Клеопатра Ильинична фыркнула что-то себе под нос и вышла из кабинета, довольно невежливо прихлопнув за собою дверь.

Графиня обратилась с приветливой улыбкой к Ивану Афанасьевичу.

— Итак, дело кончено. Я прошу вас только об одном: поезжайте завтра или послезавтра. Каждая минута дорога.

— Извольте-с... ваше сиятельство... — сказал Иван Афанасьевич, — только как же насчет инструкции?

— Это вам все объяснит Дмитрий Петрович, а мне остается только благодарить вас и просить не забывать обо мне.

После этих слов чиновники встали, раскланялись и вышли.

В передней Дмитрий Петрович принял важную и немного гордую осанку. Иван Афанасьевич тоже несколько ободрился. Мысль, что Настенька будет жить в знатном кругу, льстила его самолюбию. Штаб-офицерство его торжествовало; но по мере того как он приближался к дому, малодушное тщеславие постепенно исчезало и чувство отца все более и более брало

над ним верх. Робко вошел он к себе, походил по комнате, побранил немного, без всякой причины, Акулину, спросил у дочери, не пора ли обедать, поцеловал ее и заплакал. Его томило тяжкое предчувствие.

— Вы решились ехать? — воскликнула испуганная дочь.

Иван Афанасьевич не отвечал.

— Не уезжайте, ради бога. Что я буду одна, с чужими? Я боюсь этого. Не оставляйте меня, не оставляйте, если вы меня только любите.

Акулина принялась было тоже уговаривать, да Иван Афанасьевич сердито прогнал ее в кухню.

— Я дал слово, — сказал он довольно решительно, — слово мое свято, извольте укладываться. Завтра я отвезу тебя к твоей благодетельнице, а послезавтра и покачу молодцом. Да из чего тут, в самом деле, тревожиться? Еду я всего на четыре месяца. Ты будешь в таком доме, где бы век тебе жить по воспитанию, да и пора было, Настенька. Ты этого, мой светик, не заметила, а тут бог знает в балыкинском доме какой народ живет: не посмотрят, что благородная девушка... а там и ведайся с ними.

При этих словах Настенька побледнела как смерть, голова ее тихо опустилась. Делать было нечего.

Сели обедать. Иван Афанасьевич хотел было развеселиться, да не мог. Шутки его не находили отголоска в душе. Притворный смех оканчивался тяжким вздохом.

Акулина была очень сердита. Настенька молчала. После обеда Иван Афанасьевич ушел к Дмитрию Петровичу хлопотать об инструкции и отпуске.

Как только он ушел, Настенька поспешно выслала Акулину в кухню, а сама бросилась к окну. Стыдиться было уж нечего. Они расстанутся; она хотела видеть его, проститься с ним, крикнуть ему, что она его любит, что их разлучают, что не видеть им более друг друга. Сердце ее не предвещало ничего доброго. В балыкинском доме окно было затворено, у окна никого не было.

Дорого бы дала в эту минуту молодая девушка, чтоб окно вдруг отворилось, чтоб перед глазами ее явился сосед с его умоляющим, трогательным видом. Теперь она не мучила бы уж его притворным равнодушием, она бы перебросила ему всю душу свою и нагляделась бы на него, налюбовалась бы им. Окно было затворено: у окна никого не было.

Печально начала Настя прощаться с своей комнаткой, и ей показалось, что ничего не могло быть лучше этой простой, бедной комнатки. Она не понимала, чтоб можно было расстаться с этой комнаткой, от которой он так близко, в которой она так часто о нем думала и не хотела о нем думать. Теперь уж притворяться перед собой нечего: она его любит всеми силами души, она готова ему жизнь отдать. И эту комнатку она должна оставить, эти миленькие ширмы, этот красивый комодец, это незабвенное окно — она все это покинет завтра! Она останется одна, совершенно одна, без комнатки, без Акулины, без доброго отца, который не понимает ее, может быть, но которого она так любит...

Грустно начала она перебирать и укладывать свои вещи. Сперва отобрала она тщательно и связала вместе все свои пансионские воспоминания: тетрадки, записки обожаемых девиц, нежные и строго запрещенные стишки, наскоро написанные мелкими буквами, несколько плохих рисунков с заветными вензелями. Потом уложила она свои изорванные книжки, все исписанные по полям восторженными восклицаниями: «божественная», «несравненная» и тому подобное; потом отложила она в сторону образа свои — наследие матери и

благословение отца; потом начала складывать свои скромные наряды и вдруг остановилась со вздохом и улыбкой. Вот платье, которое было на ней во время памятной поездки по железной дороге. В этом платье она говорила с ним в первый раз, в первый раз почувствовала мучительную и сладкую тревогу. Кто бы мог подумать тогда, что эта тревога сделается ее постоянным занятием, ее никогда не покидающей мыслью.

И снова подошла она к окну и снова начала глядеть на ту сторону улицы, стараясь чудной силой воли отворить это безжалостное окно и вызвать нежное лицо любимого для последнего, страстного, безнадежного прощанья.

Окно не отворилось. По щекам Насти слезы покатались градом.

Так прошел целый вечер.

Иван Афанасьевич возвратился поздно домой. Дмитрий Петрович успел уж выхлопотать для него у директора отпуск, взял для него место на другой же день в вечерний дилижанс и оказал неимоверную деятельность в чужом деле. Иван Афанасьевич не прекословил и повиновался всему, как ребенок.

На другой день он отвез дочь к графине. Графиня осмотрела Настеньку с ног до головы и, по-видимому, осталась довольна. Она сказала ей несколько ласковых слов, сама отвела ее в назначенную для нее комнату и озаботилась, чтоб в комнате было все, что нужно. После этого графиня ушла, сказав, что при прощании она лишняя, что дома она не обедает, а что если Настеньке не будет скучно, то она желала бы, чтоб Настенька пришла к ней вечером разливать чай, как то делала прежняя ее воспитанница. Сказав все это, она поручила себя благорасположению сконфуженного Ивана Афанасьевича и отправилась по визитам, а потом на какой-то званый обед.

Комната Настеньки была чудом роскоши в сравнении с той, с которой она только что рассталась. Большие шелковые занавесы (правда, полинялые) украшали окна. Ковер весь истерся, а мебель тускло отсвечивала почерневшей позолотой.

Настенька глядела печально на все эти жалкие лохмотья отставного богатства, попавшие сюда только потому, что их девать было некуда.

Наступила минута прощанья.

Иван Афанасьевич начал было говорить Настеньке, чтоб она угождала графине, не забывала писать к нему и молилась богу, но он не мог окончить своего наставления, заикнулся и зарыдал как ребенок. Настенька бросилась к нему на шею, и так стояли они, смешивая свои слезы, долго не будучи в силах выговорить ни слова.

— Настенька, — начал шептать, рыдая, старик, — радость моя... светик ты мой!.. Видит бог... не ты бы... не поехал бы я. Да как не ехать, моя душенька... это для твоего же блага. Все будет к лучшему; не забывай только старика, пиши почаще. А мне для здоровья вояж полезен. Доктор приказал: все-де жизнь веду сидячую. Увидишь, каким молодцом приеду... Ну, прощай, успокойся, мой дружок... На... Настенька ты моя!

— Не оставляйте меня здесь долго, — жалобно стонала Настенька, — мне страшно здесь...

— Ну, ну, перестань же... Господь с тобою. Скоро увидимся. Благослови тебя господь.

Иван Афанасьевич прижал снова дочь свою к груди, перекрестил ее поникшую голову и выбежал, не оглядываясь, из комнаты.

Настенька почти без чувств упала в кресла.

Долго оставалась она так, без движения и почти без мысли.

В голове ее все смешивалось в темный, неопределенный хаос. То слышался ей веселый лепет подруг молодости, то стук железной дороги, то страстный голос белокурого соседа, то прощальные слова старика. Она вдруг нежданно, внезапно была отторгнута, отделена от всего, к чему привыкла. Душа ее словно осиротела. Она боялась гордых стен своего нового жилища; она боялась графини и чувствовала, что ласка графини так же лжива, как и лицо.

День прошел в грустном одиночестве. В десять часов вечера вошла в комнату горничная и объявила довольно грубо, что графиня просит к себе чай разливать.

Настенька вздрогнула. Машинально встала она с места и отправилась на зов.

Графиня сидела в тускло освещенном кабинете, за ширмами, у ломберного стола, и играла в карты с Клеопатрой Ильиничной и каким-то сладким господином. При появлении своей новой собеседницы графиня приятно улыбнулась и сказала несколько приветливых слов, но Настенька ничего не расслышала, кровь хлынула к ее сердцу; она едва удержалась на ногах. Подле кресел графини, щегольски одетый и поникнув белокурой головой, сидел он, он сам, тот, с которым она только что простилась в душе навек! Он тоже вскочил с места, бледный и трепетный, едва переводя дыхание.

— Настасья Ивановна, — сказала графиня, — позвольте мне представить вам внука моего, князя Андрея.

Молодой человек неловко поклонился и выговорил с трудом несколько бессвязных слов; но взоры его придали им смысл. Настенька покраснела по уши и бросилась к самовару.

— Игра в червях, — торжественно объявила Клеопатра Ильинична.

— Пас! — вымолвил, улыбаясь, сладкий господин.

— Какие вы несносные, Клеопатра Ильинична! — сказала графиня. — У вас всегда огромные игры, а у меня вечно семерки.

Графиня, как все старухи, не любила проигрывать.

V

Старушка нашего времени и молодость всех времен

Европейское просвещение перемешало у нас некоторым образом сословия и даже возрасты. Теперь все светские люди одних лет: молодые чересчур стары, старые чересчур молоды, бабушки пожимают руки корнетам, дедушки курят пахитосы^[10] с своими внуками. Над всеми владычествует общий салонный уровень, все одеты одинаково, все проводят время одинаково, все озабочены тем же ничем. Только на иных вид действительной молодости, на других декорация молодости, обман в пользу приличия.

Не знаю, надо ли жалеть о старине; но как, скажите, не пожалеть о наших прежних маститых стариках, составлявших во время оно лучшую опору нашей народной патриархальности? Как не пожалеть о добрых наших старушках, которые берегли семейственность и долговечным примером, благочестивой жизнью охраняли в обществе спасительные начала нравственности?

Роль старушки исчезает у нас с каждым днем. Мы дожили до эпохи странной снисходительности ко всему молодому и бережно скрываем свои года, совестимся своих морщин. Мы малодушно потворствуем легковерию века. Теперь мы все молоды, чересчур молоды, непростительно молоды, но молоды, впрочем, не той живой и здоровой молодостью, которая играет отвагой и силой: мы молоды болезненной молодостью, требующей игрушек и рассеяния, а не свежей мысли, не полезного дела.

Давно ли, кажется, жили у нас в Петербурге добрые, незабвенные, настоящие старушки, которые владычествовали над общественным мнением, которых внимание почиталось за честь, которых слово дорого ценилось?

Мы помним еще ту высокую сановницу, которая любила окружать себя живой беседой и среди волнений жизни умела сохранить мирное доброжелательство, неизменное добродушие и тихое спокойствие ничем не взволнованной совести.

А та, у которой сам Пушкин учился уму[11], та, которой каждое слово поражало невольно оригинальностью и глубоким знанием человеческого сердца... Кто, видевший ее хоть раз, не оставил навек в памяти своей воспоминания от этой встречи? Когда незабвенная старушка начинала живописными красками изображать времена своей молодости и славы Екатерины — любо было и весело вслушиваться в ее колкую, звонкую речь, и юноши, слушая ее, забывали, что есть молодые женщины на свете. С этим необыкновенным умом сливалось нежное, любящее сердце, молодое и в самых преклонных летах, жаждущее всякого теплого чувства, готовое на всякое доброе и благородное дело. Оттого ей и не нужно было молодиться, чтоб привлечь к себе внимание.

Пишущий эти строки сам долго имел счастье видеть в своей семье такой пример общего уважения.[12] Никогда не забудет он, и многие, верно, не забудут с ним ту нероскошную комнату, где за ширмами, в больших креслах, с зеленым зонтиком на глазах, сидела, согнувшись, восьмидесятилетняя старушка — доживающий остаток исчезающего быта. Всякому был готов дружеский и радушный прием, для всякого был прибор накрыт за сытным, хотя неизысканным столом: чем бог послал, сыты не сыты, а за обед почтите. Всякое родство, как бы отдаленно оно ни было, почиталось святыней, и добрая старушка дорожила им, несмотря ни на знатность, ни на значение родственников. Бывало, приедет из губернии какой-нибудь помещик с сыновьями и, не думая долго, идет к старушке. Едва успел он назвать себя, старушка расскажет уж сама ему всю родню его, кто на ком был женат, кто кому тетка, кто племянник, и наконец отыщет-таки какое-нибудь родство и с собой. Вследствие этого старушка хлопчет за родню, определяет сыновей в корпус и берет их на свое попечение, а помещик, утешенный и довольный, возвращается в деревню. И это было не пустое обещание — слово исполнялось свято: несмотря на слабость преклонных лет, она действительно следила за воспитанием молодых людей, в праздники и воскресные дни требовала, чтоб они непременно являлись к ней, журила их за шалости, ласкала за хорошее поведение, даже заезжала к ним в корпус, когда они были больны, и просила о них в случае надобности наставников и старших. Многие, ныне возмужалые и рассыпанные по России, вспомнят свою молодость, читая эти строки, и от души почтят благословением прах незабвенной старушки.

Принимаясь за описание современной старушки, мы хотели отдохнуть сперва мыслью и душой над тем успокоительным образом, который так неизгладимо врезался в нашей памяти.

В противоположность прежним старушкам, в старушке, о которой я теперь веду рассказ, не было ничего старого. Привычка к рассеянной светской жизни обратилась в ней во вторую природу. Она нарядно переживала третье поколение сплетней, балов и визитов. В молодости она была красавицей, и единственным ее занятием было обожание собственной особы. Никто лучше ее не умел выдумать какую-нибудь дерзкую прическу, отважиться на небывалую

фалбалу[13] и пустить в моду такую штуку, о которой обыкновенная модница и подумать бы не смела. Старость определилась для нее резким образом. Она отказалась от розового цвета и начала играть в карты. Это, кажется, было самым важным переверотом в ее жизни. Правда, злые языки утверждали, что во время оно соблазнительная хроника записала не раз в своих летописях имя прекрасной графини. Сердечные увлечения были и у нас когда-то в моде...

Одного нельзя было оспаривать у графини: она была чрезвычайно умна и отлично знала все слабые стороны человеческого сердца. Светская психология была ей знакома до малейшей тонкости. Родись она мужчиной, она могла бы быть дипломатом или министром; родись двадцатью годами раньше, она бы могла быть президентом какой-нибудь академии, но в ее эпоху старухи не руководили более обществом, а прицеплялись кое-как к нему, из милости, чтоб только не быть отброшенными вовсе в сторону. От этого, весьма естественно, развилось в старой графине чувство постоянного неудовольствия и странного равнодушия не к свету, а к человеку. Она утратила ту вечную душевную благонамеренность, которая сопутствовала прежним старухам до могилы и позволяла им сочувствовать свежим впечатлениям молодости. Почти неизбежный порок старости — эгоизм — развился у графини в страшных размерах, и надо заметить, что эгоизм такой порок, который всегда находит для себя пристойную личину, не только что извинение. Графиня всегда жаловалась на людей, не понимая, что она сама для них ничего не сделала и не вправе была ожидать чего-либо от них. Единственная ее дочь умерла где-то за границей, оставив ей сына Андрея, который жил у своей бабушки, учился как мог и выдержал экзамен. Но между старухой и молодым человеком не было никакой душевной связи: ни сердечной заботливости с одной стороны, ни безусловной преданности с другой. Они, впрочем, любили друг друга как могли: она — с величавым пренебрежением, он — с детским малодушием. Она не принимала участия ни в его развлечениях, ни в его намерениях и надеждах. Он боязливо бежал от ее холодных, резких суждений, от которых только сжималось сердце его, готовое на любовь.

Графиня жила открыто, принимала часто гостей, но притом была скупа до крайности. Она сама вела свои расчеты, тушила лишние свечи, поверяла повара, строго взыскивала с людей. Глядя на ее важно аристократические приемы, никак нельзя было полагать, чтоб ей были известны цены съестных припасов и лошадиного корма.

Ей усердно помогала по хозяйству Клеопатра Ильинична, которая держала чай и сахар под замком и бранилась с целым домом, не столько из привязанности к графине, сколько для собственного удовольствия. Клеопатра Ильинична была одним из тех жалких созданий, которые вымещают на целом человеческом роде собственные неудачи. Дочь бедных, но неблагородных родителей, она с незапамятных времен жила в доме графини, отлично знала ее слабости и употребляла их в пользу своей завистливости и желчной досады на судьбу. Оставшись старой девой и отказавшись с ожесточенной решимостью от пылких заманок сердца, она вооружилась принужденной добродетелью, чтоб преследовать и клеймить те чудные впечатления, которые не были даны ей в удел. Как будто нарочно портила она все, к чему только прикасалась, обращала набожность в ханжество, бережливость в скардность, даже самую привязанность к благодетельнице — в какое-то тиранство, от которого графиня, при всей резкости своего характера, не могла освободиться благодаря привычке и старости. Обе старухи жили в какой-то странной злобной дружбе, знали, что друг друга не любят, и со всем тем до того свыклись, что никак не могли разойтись.

Само собой разумеется, что Клеопатра Ильинична ненавидела все молодое, как бы дразнившее ее, а вдобавок ревновала ко всем кто мог бы ослабить некоторым образом ее влияние на графиню. Едва успела она вытеснить прежнюю воспитанницу, решившуюся на отчаянный брак, чтоб скрыться только от ее преследований, как вдруг появилась новая цель для ненависти — беззащитная Настенька, не знающая даже о существовании унижительных чувств уязвленного самолюбия и прозорливой скупости. С первого взгляда Клеопатра Ильинична возненавидела свою новую соперницу. Смущение ее при встрече с молодым князем не ускользнуло от ее внимания. Радость, озарившая черты молодого человека,

отозвалась в ее душе резким, обидным ударом. В то время как молодые люди, трепетные и безмолвные, не смели даже взглянуть друг на друга и как бы изнемогали под чудным бременем неожиданного и беспредельного блаженства, завистливый взгляд преследовал каждое их движение, и злобная улыбка, как отдаленная молния, предвещала их счастливой беззаботности неминуемую грозу.

Вечер прошел незаметно. Против обыкновения, Андрей, появившийся в гостиной бабушки только на самое короткое время, не думал уходить. Он выпил страшное количество чашек чая и начал рассказывать с большим одушевлением о разных светских пустяках. Настенька слушала его с заметным увлечением, Клеопатра Ильинична с мрачной сонливостью. Графиня несколько раз улыбнулась из-за карточного стола и внуку своему и молодой девушке. Наконец партия кончилась. Все разошлись, кроме двух старух, и Клеопатра Ильинична тотчас же начала свои нападения на новую соперницу. Яркими красками изобразила она смущение и радость молодых людей при встрече, наглое кокетство с улицы взятой девчонки и заключила порывом благородного негодования против безнравственности века. Графиня, напротив, была очень довольна и весела. Может быть, она внутренне тешилась бешенством своей наперсницы. Во всяком случае, внимание, оказанное Андреем Настеньке, ей очень нравилось.

— Я бы очень желала, — сказала она, насмешливо поглядывая на Клеопатру Ильиничну, — чтоб мой Андрей хорошенько влюбился в Настасью Ивановну. Для молодых людей это спасительно: отдаляет их от разных опасных развлечений и, кроме того, доставит мне удовольствие часто его видеть. Ты, кажется, молода не бывала, так тебе сердечных радостей и понижать нельзя.

— Отчего вы это думаете? — обидчиво воскликнула старая дева. — В меня бывали влюблены люди почище вашего внука. Только я была так воспитана, что никогда бы не позволила им никакой вольности. Мне бы захотеть только стоило, я сама бы могла жить по-барски, да беда моя, что я не так воспитана.

— Так ли? — возразила графиня.

— А вы не верите? Вот благодарность, которую заслужила я после моей тридцатилетней привязанности! Для вас последняя горничная больше меня значит. Вам только и удовольствия, чтоб разобидеть меня. Впрочем, уж так, видно, создан свет: чем больше для людей делаешь, тем меньше они чувствуют. По мне, пожалуй, берите кого хотите — мне какое дело? Вам будет стыдно, что вы терпите всякое бесчинство в доме, а не мне. Меня, слава богу, подозревать никто не станет. Я у вас хуже всякой тряпки.

Клеопатра Ильинична расплакалась. Графиня рассердилась. Старухи разбранились и разошлись.

А Андрей и Настенька были как сами не свои. При расставанье они улыбнулись друг другу и вместе выговорили: «До свиданья». В этом слове заключалось все счастье, переполнявшее их душу. До свиданья — то есть до завтрашнего дня, то есть до осуществления тайной взаимной мечты. Теперь уж нет ни опасения, ни урывчатых встреч, ни угрызений совести — ничего нет, кроме светлого сознания, что они живут под одним кровом, дышат одним воздухом; желания их никогда далее не простирались. Оба они были как бы под влиянием несбыточного сна. Сладко заснули они оба, и оба, проснувшись, испугались при мысли, что не спят ли они еще. Но нет, вчерашнее случилось точно: они живут в одном доме. Как весело, как свободно вздохнула тогда грудь их! Как ярко сверкнуло для них солнце! Как необъятно показалось им небо! Как хороша явилась им жизнь!

Поутру Настенька, полюбовавшись своей комнатой, которая вдруг показалась ей чудом роскоши и великолепия, сошла к графине; графиня была еще в постели и до окончательного

туалета, то есть до трех часов; никого, кроме девушек и Клеопатры Ильиничны, не впускала.

Настенька едва успела выслушать довольно резкий отказ, как в кабинет явился Андрей, тоже привлеченный необыкновенной заботливостью о здоровье бабушки. Настенька покраснела, Андрей взглянул на нее так нежно, что в ней сердце задрожало. Он тихо взял ее за руку.

— Наконец... — сказал он.

— Да... — прошептала она, — странно... не правда ли?..

— Отчего же говорят, — продолжал он, — что счастье невозможно? Что за пустяки! Как невозможно? А что у меня на душе, как не счастье, настоящее счастье? Оно пройдет, может статься, когда-нибудь, но все-таки оно было, а если было, так и быть может. Люди вообще не несчастны, а неблагодарны. Им все мало. Как будто минуты, подобные нынешним, могут повторяться часто, как будто одной минуты не достаточно на счастье целой жизни!

— Зачем вы князь!.. — боязливо вымолвила Настенька, выражая тем свою самую задушевную мысль.

Андрей улыбнулся.

— Я князь потому, что счастлив, — отвечал он. — А вы не рады, что меня здесь видите?

Она посмотрела на него выразительно, но ничего не отвечала. В комнату вошла Клеопатра Ильинична, и обратилась к Настеньке с просьбой любить ее и жаловать.

— Вам с старухами, — прибавила она, — будет скучно, так вот молодой человек, который, надеюсь, не будет оставлять вас своей беседой. Графиня поручила мне сказать вам, что до трех часов вы совершенно свободны. В три часа графиня ездит кататься, и тогда, если вам угодно, вы можете сопровождать ее. Вечером графине будет приятно видеть вас в своей гостиной. Если у вас нет порядочного платья, то графиня поручила мне спросить, сколько вам нужно будет денег, и я их вам выдам.

Настенька вспыхнула.

— Мне ничего не нужно, — отвечала она поспешно, — папенька оставил мне на издержки.

— Как вам угодно. Позвольте еще одно замечание: неприлично вам оставаться наедине с молодым человеком. Хотя наш князек еще ребенок, но все-таки вы должны дорожить своей репутацией. Так как мне делать нечего, то я надеюсь, что вы не откажете в свое свободное время приходить в мою комнату.

Андрей едва не бросился на старую деву за подобное предложение.

Клеопатра Ильинична взяла под руку свою новую питомицу и увлекла ее в свою комнату. Андрей убежал к Пруткову.

Так началось, так и продолжалось новое житье Настеньки. С одной стороны, любовь Андрея — одно присутствие его было для нее неисчерпаемым источником тихой радости, с другой — неотвязчивое преследование.

Клеопатры Ильиничны и величавое, снисходительное пренебрежение графини отравляли ее жизнь. Она узнала всю горечь чужого хлеба.[14] Зависимость, как бы ни была она вызолочена, не согласовалась с ее характером, потому что ей странно было, что никто о ней не заботился, не предугадывал ее желания, не располагал дня по ее назначению. Она становилась принадлежностью, чем-то вроде лишней мебели или опакала; ее брали и откладывали в сторону, не спрашивая ее согласия. К тому ж она скоро познакомилась с

новым язвительным чувством, с чувством нищеты среди роскоши. Отказавшись от благодеяний графини по невольному порыву благородной гордости, она не рассчитала, что вся сумма, оставленная ей отцом, едва могла быть достаточна на один день нарядной жизни. Графиня же, с своей стороны, благодаря неизлечимой скупости не обременяла ее новою щедростью. Не зная бедности на убогом чердаке своем, Настенька узнала ее в роскошных покоях, где каждая принадлежность напоминала ей о собственной ее недостаточности. Подобные явления встречаются нередко в большом свете. Глядя на кружева и браслеты нарядных дам, посещавших графиню, Настенька невольно припоминала, что каждая пара перчаток была для нее предметом особого соображения. И со всем тем она скорее умерла бы на месте, чем созналась кому бы то ни было, что белье ее грубо, что башмаки ее изнашивались. Мысль, что Андрей может заметить какое-нибудь пятно на ее платье, бросала ее в лихорадку. Какой молодой девушке не хочется нравиться, в особенности тому, кого она любит? А как сочетать с возвышенной любовью мысль о грошовом расчете и прозаическом обветшании наряда? Впрочем, эти опасения были напрасны: Андрей, как человек богатый и к тому же влюбленный, не подозревал подобных лишений. Любовь носится в мире идеальном, в небе душевных наслаждений и не глядит себе под ноги, не замечает, как пресмыкаются на земле существенность и нужда.

Как весьма основательно заметила графиня, Андрей оставался почти всегда дома и почти не выходил из гостиной. Клеопатра Ильинична следила за ним, как заботливая мать или ревнивая жена. Редко, очень редко удавалось Андрею перекинуть слова два наедине с Настенькой, но и эти слова от, постоянного принуждения не были удовлетворительны. Настенька начинала предчувствовать и бояться. Андрей начинал сердиться.

В то время племянница графини вышла замуж. Свадьба была великолепная. Петербург говорил о ней целые пять минут. Графиня, как посаженная мать и ближайшая родственница новобрачной, почла обязанностью ознаменовать балом брачное торжество. Надо заметить, что, когда нужно было поддержать блеск своего имени, графиня забывала природную свою скупость, в душе ее тогда происходила странная борьба между аристократическим тщеславием и обыкновенными привычками. Оттого возникали весьма забавные столкновения. По светскому навыку она знала, что нужно для пышного бала, но, исполняя такие требования, придумывала уловки, достойные Гарпагона[15]. Клеопатра Ильинична усердно помогала ей во всех распоряжениях. Настеньке было приказано быть на бале, но тем и ограничилось дальнейшее о ней попечение.

Наступил день, или, правильнее, наступила ночь, назначенная для праздника. Графиня, утопая в волнах кружев и лент, принимала гостей с благородной величавостью и отличным знанием приличий. Для иных она вставала с кресел, для других приподнималась вполовину, иным говорила несколько приветливых слов, иным кивала головой, для иных, самых незначительных, просто хлопала глазами. Комнаты скоро наполнились той пестрой толпой, которая составляет цвет петербургского общества. Так как графиня считалась дамой весьма исключительной и допускающей круг только самого чистокровного знакомства, то все приглашенные явились на зов, чтоб доказать присутствием своим неоспоримое свое право на аристократизм. Тут были и тузы, и отцветшие красавицы, и целая фаланга молодых людей; тут были молодые девушки с робкою поступью и бойкими взглядами и матушки в токах, тихо дремлющие под звуки оркестра; тут были иностранцы и русские, люди, приехавшие из видов, и так, просто, потому что им деваться было некуда и потому что все-таки лучше провести вечер на бале, чем дома; словом, тут был весь петербургский большой свет, с его надоевшими друг другу лицами, с его привычными брильянтами, с его знакомыми улыбками и польками, с прислугой в башмаках, сверкающим буфетом и утомительной духотой. К двенадцати часам комнаты были набиты битком, и жара была невыносимая.

Графиня была очень довольна и то и дело представляла внука своего знатным вельможам и важным барыням, вступавшим в бальную залу. Так как всем было известно, что Андрей — единственный наследник графини, то все наперерыв жали ему руки и осыпали его

приветствиями. Многие матушки заводили даже с ним серьезный разговор о современной политике, но Андрею было не до того, сердце его было приковано к углу залы, где Настенька, в скромном белом платье, сидела всеми забытая. Две или три подруги детства поздоровались с ней с дружелюбным удивлением и тотчас же унеслись в вихре вальса, опираясь на ловких гвардейцев. Два старика, в белых галстуках и завитых париках, несколько времени постояли перед Настенькой и начали перешептываться, поглядывая на нее и улыбаясь довольно двусмысленно.

Между тем бал понемногу оживлялся. Светская принужденность и официальная скука мало-помалу уступали место молодости, которая всегда и везде возьмет свое.

Шпоры начали побрякивать звонче и чаще; лица танцующих оживились, локоны распустились, глаза засверкали; по мере того как старые и лишние исчезали, настоящие владельцы бала, то есть молодые люди, вступали в свои права. Оркестр заливался упоительными звуками вальса, звуками, полными неги. Андрей стоял у колонны и думал. Он не обижался общим пренебрежением толпы к Настеньке и даже не замечал его, но он чувствовал, что торжественность бала, восторг молодости, даже самая музыка настроивали его душу к светлому вдохновению. Любовь обхватывала его своим жгучим пламенем. Он глядел на Настеньку, и ему казалось, что она в простом наряде царствовала над всеми этими лоскутьями и камешками, которые вертелись кругом него.

Он думал об одном только: как бы броситься к ее ногам, обхватить ее трепетными руками и унести ее туда, где нет ни большого, ни маленького света, где только сияет вечно яркий, вечно прекрасный свет счастья и любви.

Так думал Андрей, и вдруг она вышла из комнаты.

С ней исчезло все — и бал, и люди, и все его окружавшее. Андрей не мог остаться на месте, невидимая сила толкала его. Он вошел в спальню графини, оттуда в длинный коридор и остановился, опомнился только у комнаты Настеньки. Комната тускло освещалась нагоревшей свечкой. Настенька сидела у стола, наклонив на руку голову, и горько плакала.

— Что с вами? — тихо сказал Андрей, робко остановившись. Прошла минута, каких немного бывает на земле, потому что тогда земля исчезает. Вдруг оба вскрикнули, оба кинулись в объятия друг друга, оба сказали друг другу «ты». Руки их встретились, глаза слились в одном взгляде. Настенька не переставала плакать, но слезы ее были не плачем скорби, а сверкающим покровом тихого блаженства. И как были хороши они тогда! Он — как олицетворенное вдохновение, она — как олицетворенная любовь. Долго ли они так сидели и что было говорено тогда между ними — этого никогда не могли они припомнить. А издали глухо раздавался веселый говор скрипок, шарканья и бальной суеты. Вдруг оркестр остановился. Молодые люди опомнились. В дверях стояла Клеопатра Ильинична с обиженным видом.

— Где это вы, князь? — сказала она. — Вас бабушка два раза спрашивала.

Андрей опрометью выбежал из комнаты.

— А вы, моя милая, что ж не танцуете? — продолжала неумолимо Клеопатра Ильинична, обращаясь к молодой девушке.

— Я никого там не знаю, — едва внятно отвечала Настенька.

— Да, и в самом деле, не ваша компания. Впрочем, вы, кажется, и здесь нескучно время провели... Только что на это скажет графиня?..

Настенька побледнела, а Клеопатра Ильинична, улыбнувшись, с чувством собственной

непорочности важно вышла из комнаты.

VI

Убеждение

Несколько дней спустя графиня проснулась довольно рано и завтракала в кровати. По мягкому ковру спальни мелькали три девушки, как тени, приготавливая все снаряды и снадобья таинственного туалета. Сквозь спущенные шторы свет едва проникал в комнату, тускло освещая безобразное лицо графини — еще не подготовленное и не разукрашенное. В спальню вошла Клеопатра Ильинична с торжественною физиономиею, отослала девушек повелительным знаком и спросила о здоровье графини. Впрочем, в этом ежедневном приветствии очевидно обнаружилось только предисловие.

— Что нового? — спросила графиня.

— Да что нового! — подхватила Клеопатра Ильинична. — Вот вы опять дурно почивали. Я удивляюсь, как вы совсем не занеможете. Да и поделом вам, право! Берете себе бог знает кого в дом, делаете себе беспокойство. Мне бы не след говорить, да характер у меня такой: видеть не могу хладнокровно...

— Об Настасье Ивановне опять? — спросила, слегка улыбнувшись, графиня.

— Да о ком же еще? Наделает она вам хлопот — помяните мое слово. Да вот все не верите.

— Ну-ну, что ж? Говори!..

— Говори! Что мне говорить! Меня никогда не спрашивают. Я здесь что у вас? Каждая с улицы больше для вас значит.

— Ну, не сердись; ты знаешь, я в завещании тебя не забуду.

— На что оно мне, ваше завещание-то? Не надо. И без него проживу свой век. У меня есть свои родственники, такие же генералы, как вы. Сколько раз хотела вас оставить...

— Что ты, Клеопатра Ильинична?

— Да так, я даром что не в молодых годах, а все-таки девушка. Мне неприлично жить в доме, где происходят такие вещи, что девице и говорить о них стыдно.

— Опять напроказил Андрей? — спросила графиня.

— Напроказит он вам, будете помнить его проказы, ничем не исправите потом — вот оно что. Клеопатра Ильинична из лет выживает, и врет она, и ничего не смыслит она, и дура она, а на поверку дура-то умнее всех ваших умников!

— Да что ж это значит? — с нетерпением сказала графиня. — Говори, что знаешь.

— Ничего не знаю.

— Какая ты, право! Говори, пожалуйста.

— Да что вам говорить! Все толку не будет.

— Да полно же.

— Не скажу ничего.

Как выше замечено, Клеопатра Ильинична пользовалась странным правом прекословить и даже иногда грубить графине, и, по странной снисходительности, графиня, вообще не любившая противоречия, сносила терпеливо капризы своей собеседницы. Впрочем, и то правда, что Клеопатра Ильинична пользовалась своим правом только в тех случаях, когда знала, что перевес решительно на ее стороне.

Обе старухи помолчали несколько времени.

Графиня с беспокойством посматривала на Клеопатру Ильиничну. Клеопатра Ильинична, насупив брови, принялась за шерстяное вязанье.

— Ну, — сказала графиня, — видно, от тебя ничего не дождешься. Позови девушек. Я стану одеваться.

Клеопатра Ильинична бросила поспешно вязанье, вскочила со стула, как черт из табакерки, и побежала к кровати.

— Вот в чем дело. Вот что вы наделали. Честь имею вас поздравить. Князь нашел себе достойную партию, жениться намерен...

Графиня вытаращила глаза.

— На ком, матушка?

— На ком! Известно, на ком! Вы думаете, Настасья ваша Ивановна теряет время? Нет-с! не на такую напали. И беззащитная она, и сирота она, некому за нее заступиться. А князек, сами знаете, горячка. Бац на колени. Женюсь, говорит. Так что ж вы думаете? Она же не хочет!

— Умна, — заметила графиня.

— Поумнее нас с вами проведет. Я давно заметила и замечаю... с первого раза не полюбилась. Говорила я вам тогда, да нет. Что говорю я, что ветер носит — все равно. Заслужила на старости лет, что всякая холопка больше меня значит.

— Да полно, матушка!

— Нет, правда, правда. Что тут и говорить! Я себе на уме, гляжу, что из этого будет. Стала подмечать. Вижу, князек-то наш то и дело при ней в лице меняется, а она-то глазенки таращит. Добро, хороши были бы...

— Нет, хороши, — задумчиво возразила графиня.

— Какое хороши, черные, да и все тут. Вот у меня в молодости так уж точно были хороши. А эти что? Знает она свое дело. Вот, думаю я, даром что графиня меня в грош не ставит...

— Да полно, Клеопатра Ильинична!

— Нет, что правда, то правда. Вот думаю я, даром что графиня меня в грош не ставит я все-таки не дармоедка какая-нибудь, я обязанность свою знаю. Я не какая-нибудь со стороны: буду подмечать за ними, а там и скажу все своей благодетельнице.

— Спасибо, Клеопатра Ильинична.

— Ну, вот, слава богу! наконец и спасибо услышала. А знаете, ли вы, что они уж прежде были

знакомы?

— Полно, матушка, тебе это все кажется, Дмитрий Петрович сказал бы мне.

— Дмитрий Петрович старый дурак, ничего не смыслит, его самого, должно быть, обманули. Нет-с, спрашиваю, каково придумано? Там, на квартире, видется им было неловко, так чего же легче? Отца-болвана с глаз долой, а они и живут теперь вместе. Нет-с, спрашиваю... каково придумано? Да, впрочем, и отец, может быть, с ними заодно.

— Ну-ну... это вряд ли, — бормотала графиня, — впрочем, кто знает? Аи да Андрюша! Каково?.. Это хоть бы и в наше время. Только жениться — жениться... Это уж не по-тогдашнему. Да точно ли ты думаешь, что он жениться хочет? Может быть, сказал только...

— Точно. Вы, графиня, теперешней молодежи не знаете. Откуда взялись чувства, правила, благородство такое! Я, говорит, поставлю тебя выше всех за то, что ты мне вверилась без боязни. Я сам от себя завишу, я через два месяца буду совершеннолетним. У меня нет ни отца, ни матери. Я буду богат, я могу выбирать кого хочу. Бабушка посердится... да пускай она! Она старуха, умрет скоро.

— Ах он мальчишка! — воскликнула графиня, которая боялась даже напоминания о смерти, — вздумал шутить со мной... со мной! — повторила она грозным голосом. — Ну, говори, Клеопатра Ильинична, как ты это узнала?..

— Да уж как бы ни узнала — довольно, что узнала.

— Так скажи же.

— А на что вам? Толку все-таки не будет.

— Ах, какая ты, право!

— Да какая бы ни была. Вам время вставать.

— Клеопатра Ильинична, тебе, кажется, понравился мой клетчатый капот? Я его только раз надевала.

— Так что ж?

— Возьми его себе: он для меня узок.

Клеопатра Ильинична слегка улыбнулась.

— Много милости, — сказала она. — Я это из преданности к вам, а не из чего другого, разумеется, слежу за вашей Настасьей Ивановной. Сами посудите, что мне в ней? В день нашего бала шла я по коридору... Да, впрочем, я вам рассказывала.

— Да, да... Андрюша молод. Молодость должна взять свое. Тут нет ничего дурного. Это лучше, чем другое что.

— Вот не верили вы, что быть беде; а ведь, помяните мое слово: беда будет.

— Неужели в самом деле, вздумает жениться бог знает на ком?

— А разве влюбленный мальчик будет рассуждать, как мы с вами?

— Да когда ж они видятся?

— Во-первых, по утрам, когда вы еще поживаете.

— А потом?

— Мало вам этого, что ли?.. А потом, вы в гостях — они вместе. Вы спать ложитесь — они опять вместе.

— Да где же?

— Да у меня в комнате.

— Как это?

— Да так. Я с ней нарочно поласковее стала, чтоб хуже не вышло, — понимаете...

— Ну...

— Ну... вот вчера я, как будто нечаянно, оставила их вдвоем, а сама притаилась за дверью. Слышу: девочка плачет. «Отец, говорит, скоро приедет, письмо получила. Вот мы-де расстанемся, кончено наше счастье! Разлука вечная будет!» Нечего говорить, мастерица своего дела.

— Ну, а Андрюша что?..

— Ну, а князь-то наш утешает, даже на колени стал, за руки взял. «Настенька! — говорит он.

— Вот перед богом, хочешь быть моей женой?» Она как вскрикнет да кинется ему на шею...

— И больше ничего?

— Да чего ж вам больше? Слышу, плачут оба. Вдруг говорит она: «Нет, я бедная девушка, незнатная: меня бабушка ваша не благословит».

— Ну, а Андрюша что?

— А он говорит: «Бабушка давно забыла, должно быть, что такое любовь, где ей помнить! Да в ее время могли ли любить, как теперь? Она, я думаю, и не любила никогда... Да я завишу от себя. Через два месяца я буду совершеннолетним».

Графиня задумалась, должно быть, припоминала что-нибудь или соображала.

— Спасибо, — сказала она наконец медленно, — спасибо. Вели позвать ко мне моего проказника.

— Князя Андрея, что ли?..

— Да, князя Андрея.

Клеопатра Ильинична вышла.

Графиня, кликнув своих горничных, начала продолжительную церемонию одеванья, которая длилась не более, не менее обыкновенного. По старинной привычке, графиня любила долго сидеть перед зеркалом. Услужливые девушки попеременно восхищались свежестью ее лица, подавая ей румяна, и неизменной молоджавостью, напяливая на ее седую голову белокурый парик.

Принарядившись как следует, графиня вышла в свой кабинет, уселась за бархатными ширмами на большие кресла и задумчиво начала перебирать в пальцах золотую табакерку. Эта табакерка украшалась портретом какого-то господина в красном мальтийском кафтане

[16], с орлиным носом, быстрыми глазами и напудренным тупеем.

Не знаю, прикосновение ли портрета, или какое другое воспоминание занимало графиню, но она как-то туманно поглядывала на стороны, изредка вздыхала и казалась легко взволнованною. Должно быть, в эту минуту сорок или пятьдесят лет скользнули незаметно с ее памяти и ей представилось то вечно живущее мгновенье, когда из-под напудренного тупея сверкнули страстные взоры и она услышала те речи, которых слова забываются, но смысл которых вечно живет и красуется над самыми ветхими развалинами жизни. У каждой женщины, как бы она ни была стара и испорчена светом, есть в памяти такие отрадные минуты, на которые душа ее грустно и благосклонно оглядывается.

В таких размышлениях застал ее Андрей.

Почтительно подошел он к своей бабушке, поцеловал у нее руку и справился о здоровье.

Графиня приветливо ему улыбнулась.

— Садись, любезный мой друг, — сказала она по-французски, — мне надо с тобой поговорить.

Андрей сел. Сердце его билось.

Графиня продолжала:

— Через два месяца ты будешь совершеннолетний, следовательно, власть моя над тобой кончается. Я должна отдать тебе отчет в моих действиях.

— Вы, бабушка?..

— Разумеется. Все твое будущее состояние в моих руках, потому что батюшка твой — царство ему небесное! — промотал собственное имение и, кроме долгов, ничего не оставил. Итак, все, что ты вправе ожидать, заключается в том, что я назначила бедной моей Вареньке, твоей покойной матери, которая при жизни, впрочем, никогда не была выделена. Таким образом, я перед тобой ничем не обязана — понимаешь ли?

— К чему это, бабушка?

— Слушай, мой друг. Когда я была выдана замуж, я имела за собой дом в Москве, подмосковную душ в восемьдесят да шестьсот душ в Саратовской губернии.

Дом в Москве я продала, жила и живу, как видишь, и со всем тем бог благословил, дела мои устроились. Теперь у меня на мое имя восемьсот двадцать душ в Саратове, две тысячи семьсот в Пскове, да тысяча пятьсот душ в Украине, а всего с лишком пять тысяч душ, да дом в Петербурге, да дача на островах, где живу летом. Все это имение благоприобретенное, и я могу им располагать, как хочу. Года мои старые, пора подумать о завещании. Я хочу назначить все это имение тебе и тотчас же отдать в управление по доверенности. Доволен ли ты мной?

Андрей молча поцеловал руку старухи.

— В наше время, — продолжала графиня, — так не делалось. Молодым людям не давали воли. Теперь обычай другой, надо применяться к своей эпохе. Только именно в нашей эпохе есть особые требования, особые нужды, о которых я и хотела с тобой поговорить.

Молодой человек озирался с беспокойством. Он приготовился на борьбу, на упрямое сопротивление. Он хотел горделиво объявить о своем непреклонном намерении жениться на Настеньке, а о Настеньке и речи не было.

— Выслушай меня внимательно, — продолжала графиня. — Я старуха, следовательно, много видела, много испытала, могу многое сравнить. В настоящее время (графиня вздохнула), в настоящее время старость утратила свое значение. Отличие по службе, по званию сохранило и теперь свой вес в обществе, но отличие годов, но опытность возраста, но старость, одним словом, не имеет более никакого смысла. Это происходит от самонадеянности века, от гордости молодого поколения, которое, веруя в свои собственные силы, гнушается советов. Оно и глупо немного и очень жалко. Но против очевидности говорить нечего. Внуки наши не хотят зависеть от нас. Итак, мы, старики и старухи, люди бессильные, должны зависеть от внуков...

— Я не понимаю... — нерешительно заметил Андрей.

— Подожди, мой друг, скоро поймешь. Всякий возраст имел прежде свои обязанности и права. Молодые увлекались молодостью, старики удерживали их и журили за шалости; у молодых были страсти, у старых был рассудок. Теперь у молодых нет страстей, иногда разве ребяческое упрямство, а утратили они страсти потому, что вздумали присвоить себе и рассудок — принадлежность стариков. Я не хочу, чтоб ты отставал от товарищей, я готова подчиниться тебе. По летам ты еще молод, но по рассудку ты не можешь, ты не должен быть ребенком. Вот для чего я готова отдать тебе имение, на которое ты не имеешь права. Без денег в обществе нет ни влияния, ни силы. Но, принимая от меня имение и вступая во все права взрослого человека, ты принимаешь в то же время на себя важные обязанности, о которых надо сказать еще несколько слов...

— Что вам угодно, — сказал, запинаясь, Андрей.

— Мне ничего не угодно, угодно твоему званию, твоему имени, твоему богатству. Ты, я надеюсь, понимаешь, что звание, богатство, имя — не одни простые игрушки, которые даются тебе для того, чтоб тебе было весело. В них есть значение выше того глупого тщеславия, в котором давно когда-то обвиняли иных аристократов. Кто не стоит за свое сословие, тот предает его, и я уверена, что внука моего никогда не обвинят в подобной низости.

— Позвольте, бабушка, — прервал Андрей, — я не избирал своего сословия...

— Ребенок! А разве ты избрал отца своего и мать? Разве ты избрал свое отечество? А как ты сам назовешь человека, который отречется от семьи своей, изменит своей родине? В жизни бывают разные предопределения, и законы, ими предписанные, принимаются безусловно при самом рождении — не забывай этого. Теперь-то и пришла пора настоящая показать, что такое аристократическое начало. Когда начинается сражение, один трус убежит с поля. Когда братья повсюду преследуются, один злодей бросит в них камнем. Нелегко в наше время быть аристократом. Вот для чего и надо оставаться аристократом. Теперь, когда все убеждения исчезают в Европе[17], кому поддержать и спасти их, как не дворянскому сословию? Теперь, когда владычествуют слова, а не начала, кому указать толпе на путь истинный, как не тем, которые выше толпы? Но этого достигнуть можно не умом, а характером. С тех пор как булочки пишат стихи, а сапожники занимаются политикой, ум ничего не значит. Другое дело — характер, но характер крепнет только последовательностью и верою в законы, принятые при рождении. Поверишь ли? Я тебе завидую... во-первых, ты молод; во-вторых, ты имел счастье родиться в стране, которая уж служит и еще более будет служить спасительным примером заблуждающимся народам.

В эпоху беспорядка внушить почтение к порядку, в эпоху разврата обратить к нравственности, в эпоху безверия направить к вечным законам веры — вот что сделает, вот что может сделать Россия, когда каждый русский поймет свое значение, как бы маловажно оно ни было в общем стремлении, и, как часовой, будет охранять собственную обязанность.

— Конечно, бабушка, но...

— погоди, мой друг!.. Ты учился хорошо, ты знаешь историю лучше меня. Не удержал ли ты из нее следующего урока: «Счастливы те государства, где каждое сословие остается в своих пределах, идет по собственному пути?» И скажи откровенно, не чувствуешь ли ты в себе особой гордости при мысли, что в наш безумный век стремлений к невозможному ты родился в России, то есть в стране порядка, смирения и силы?

— Да! — воскликнул Андрей.

— Итак, помни, что ты обязан жертвовать собою на пользу своего отечества и тех начал, которые могут служить к упрочению его благосостояния. Но ты достигнешь этого только последовательностью, строгим расчетом ума, упорным характером, а не восторженными порывами молодости. Да... — продолжала графиня с каким-то странным вдохновением, — я старого, прежнего века, но зато убеждения мои сильны. Родилась бы я мужчиной, имя мое осталось бы в истории. Суждено было иначе: я женщина, женщина старая, но, как женщина, я сделала все, что могла. Я приготовила поле для твоей деятельности, я упрочила тебе богатое состояние, потому что в современном обществе деньги — важное орудие; но двигателем должно быть убеждение, и это убеждение должно руководствоваться тобой во всех твоих поступках, даже в малейших подробностях жизни. Без убеждений ты никогда не выйдешь из ничтожества, даже при отличном уме, даже при огромном богатстве. Для тебя нет двух дорог, и я уверена, что ты понял мои слова.

— Бабушка, — сказал нетвердым голосом Андрей, — позвольте мне высказать, что у меня на душе.

— Говори, мой друг.

— Я вполне чувствую истину ваших советов, рад исполнить вашу волю, буду стараться, сколько в силах...

— Я уверена в этом.

— Только простите меня... я не знаю, как сказать, как выразить то, что я чувствую. Поверьте, я сам не знаю, как это случилось...

— Ты мне хотел сказать, что влюблен в Настасью Ивановну?

— Как вы это знаете?

— Знаю и не удивляюсь вовсе. Настасья Ивановна очень милая девушка...

— Так вы не сердитесь на меня?

Графиня сперва вздохнула, а потом улыбнулась.

— Нам, старухам, — сказала она, — редко вверяют подобные тайны. Впрочем, за пятьдесят лет и я была молода.

Графиня грустно взглянула на табакерку, а потом обратилась снова к внуку...

— Ну, так что ж, мой друг?

— Как, бабушка? Да ведь вы знаете...

— Я знаю, что ты любишь бедную, может быть, достойную девушку. Так что ж? Это только доказывает, что ты молод, что тебе любить надо, а любишь ты Настасью Ивановну потому,

что она кстати подвернулась. Любовь — чувство безотчетное, существующее почти всегда вопреки рассудку. Вот почему она не подчиняется никаким условиям и исчезает, когда мы думаем приковать ее.

— Вы не верите в любовь, бабушка?

— В любовь нельзя не верить, даже и в мои лета. Но любовь, как ты ее теперь понимаешь, любовь страстная держится только заблуждениями и препятствиями.

Попробуй жениться: препятствия и заблуждения исчезают, поэзия твоя гибнет, настоящая жизнь, жизнь действительная начинается. Поговорим об этой жизни. Что тебя ожидает? Ты понимаешь, что ты уж не будешь моим наследником. Ты сам сознаешься, что при всем моем желании мне невозможно отказаться от моих убеждений и шестидесятилетних трудов для первой любовной глупости, которая завертится у тебя в голове. В Италии живет теперь при посольстве твой двоюродный братец, который узнает о женитьбе твоей с восторгом, потому что я вынуждена буду передать ему свое имение; разумеется, это тебя не остановит. Ты так благороден и так молод, что мысль о бедности не может и не должна тебя останавливать. Ты будешь гордиться своим упрямством. Но что ж из этого выйдет? Вывеска твоей страсти — хорошенькое личико твоей дульциней — подурнеет. Привычкой любовь уничтожится, а предмет твоей любви окажется весьма обыкновенной женщиной, которой ты сам никогда не простишь, что она отняла у тебя все твои лучшие преимущества. Ты будешь краснеть за жену свою, потому что за неимением настоящей гордости в тебе все-таки таится тщеславие — и тут-то начнется твое наказание.

Ты откажешься от большого света, но ты не можешь сблизиться ни с купцами, ни с бедными чиновниками. Ты будешь один, ты будешь беден, ты будешь несчастлив, и даже вседневные твои отношения с женой будут отравлены сознанием, что она разрушила твою карьеру, лишила тебя собственного уважения и сделала посмешищем товарищей. Призвание твое по рождению, врожденная в тебе любовь ко всему прекрасному ограничатся кухонными расчетами, вечной досадой на судьбу, и мечты восторженного воображения осуществляются самой пошлой действительностью. Поверь мне, мой друг, супружество не заключается в голубых или черных глазах, которые волнуют твою молодость. Женитьба — самый важный поступок сознательного человека, нечто вроде торжественного объявления о внутренних убеждениях.

Женитьбой доказывает он, признает ли порядок общественных обязанностей, или подчиняется безумному учению общего нелепого равенства. Наконец, женитьбой доказывает он, что он последователен в своих поступках или действует как мальчик, который жертвует иногда жизнью, чтобы достать игрушку, которую сам же разобьет. Однако ж, мой друг, я слишком разболталась. Это, ты знаешь, порок всех старух. Следовательно, ты меня должен извинить. Поверь, я больше, чем ты думаешь, принимаю участие в твоей любви. Люби, пока ты молод, но не делай глупостей. Помни, что любовь — роскошь жизни и что только долг составляет ее необходимую потребность. Но прощай, однако ж; вели закладывать мне карету и сказать Настасье Ивановне, чтоб она была готова: я хочу ехать в магазин выбрать ей новую шляпку.

Андрей молча поцеловал руку своей бабушки, хотел что-то сказать, но одумался и поспешно вышел из комнаты.

Графиня глядела ему вслед и долго еще сидела задумчиво в креслах, перебирая в руках золотую табакерку. Губы ее невнятно шептали какие-то беззвучные слова, а в чертах отражалась грустная, насмешливая улыбка.

Примечания

1

Впервые напечатано: «Отечественные записки», 1850, №№ 4–5.

2

Офицерская улица — ныне ул. Декабристов.

3

...наигрывая из «Фрейшюца» марш — «Фрейшюц» — опера немецкого композитора К. М. Вебера (1786–1826) «Вольный стрелок» (1821).

4

«Уж как веет ветерок» — ария из оперы «Аскольдова могила» (1835), слова М. Н. Загоскина (1789–1852), музыка А. Н. Верстовского (1799–1862).

5

Чин штаб-офицерский. — Штаб-офицерскими назывались чины V–VIII классов.

6

Перед Кузьмой Демьяном — День св. бессребренников Козьмы и Дамиана праздновался 1 июля, 17 октября и 1 ноября, так как действие происходит весной, имеется в виду первая, ближайшая, дата.

7

Добрые, милые (фр.)

8

Сила небесная (фр.). Дословно: «государство неба»

9

«Лови, лови Часы любви!» — Цитата из «Песни» («Век юный, прелестный...») Н. М. Коншина (1793–1859), музыка А. Л. Гурилева (1803–1858).

10

Пахитоса — тонкая папироса с мундштуком из соломины или кукурузного листа(прим. верстальщика).

11

А та, у которой сам Пушкин учился уму. — Имеется в виду родственница жены Пушкина Н. К. Загряжская (1747–1837). Пушкин любил беседовать с ней и записал ряд ее рассказов.

12

...видеть в своей семье такой пример общего уважения. — Имеется в виду бабушка писателя по матери Е. А. Архарова (урожденная Римская-Корсакова) (1755–1836).

13

Фалбала — волан, оборка (прим. верстальщика).

14

Она узнала всю горечь чужого хлеба. — Ср. у Пушкина: «Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи» («Пиковая дама», гл. II). Дальнейшее описание также ориентировано на пушкинскую повесть. В образе главной героини появляются черты старой графини.

15

Гарпагон — главный герой комедии Ж.-Б. Мольера (1622–1673) «Скупой» (1668).

16

...в красном мальтийском кафтане. — Мундиры мальтийского ордена носились в России в царствование Павла I (1796–1801), бывшего великим магистром ордена.

17

Теперь, когда все убеждения исчезают в Европе... — Героиня намекает на революционные события 1848 года.